

ФРАНЦУЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРА

Статьи Ю. Тынянова

Под общим заголовком «Французские отношения В. К. Кюхельбекера» здесь печатаются две статьи, первая из которых—«Путешествие Кюхельбекера по Западной Европе в 1820—1821 гг.»—исследует роль Кюхельбекера, как пропагандиста на Западе русской литературной культуры, понимавшейся им очень широко—начиная от народных песен и кончая только-что вышедшим «Русланом и Людмилой» Пушкина. Встреча с Бенжаменом Констаном и кругом его единомышленников является значительным эпизодом из истории общения декабристов с вождем западного либерализма.

Вторая статья—«Декабрист и Бальзак»—характеризует критические воззрения и борьбу по вопросу о «юной французской словесности», которую Кюхельбекер заочно вел в 30—40-х годах в крепости и Сибири.

Обе статьи основаны, главным образом, на неизданных материалах, каковы неизвестные записи его «Путешествия» и дневников, письма и т. д.

1. ПУТЕШЕСТВИЕ КЮХЕЛЬБЕКЕРА ПО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ в 1820—1821 гг.

Начало 20-х годов XIX в. было в Европе, а затем и в России годами бурных революционных событий. Революция в Испании (а затем в Португалии), война Греции за независимость, убийство агента Священного союза Коцебу студентом Карлом Зандом—таковы были события, сделавшие слово «вольность» для молодых русских поэтов знаменем.

Путешествие поэта Кюхельбекера по Европе в 1820—1821 гг. почти совпадает со временем высылки его великого друга Пушкина на юг. Совпадение не случайное. Пушкин писал убийственные эпиграммы на все-сильного Аракчеева, ода его «Вольность» ходила по рукам; однажды в театре он показывал портрет Лувеля, убийцы герцога Беррийского, с надписью: «урок царям». Его собирались сослать в Сибирь, заточить в Соловецкий монастырь. В конце концов, 6 мая 1820 г. его выслали из Петербурга на юг, в Екатеринослав.

Его друг и лицейский товарищ Кюхельбекер, также «зараженный вольностью», вел себя гораздо тише; был членом литературных обществ, насаждал ланкастерскую систему обучения, много печатался, воспитывал мальчиков (среди них будущего композитора Глинку). «Вольности» он был предан давно: еще в лицее чтением его были Руссо, швейцарский философ времен Французской революции Вейс, Шиллер.

Пушкин был выслан 6 мая. Непосредственно за этим Кюхельбекер прочел в «Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств» стихотворение «Поэты», вскоре затем напечатанное. Оно прославляло возвышенных поэтов, а кончалось открытым воспеванием высланного Пушкина

и отданного в солдаты за проступок Баратынского. В стихах говорилось о Ювенале, в суровой руке которого «злодеям грозный бич свистит» и перед которым «власть тиранов задрожала». Тотчас же на поэта был подан донос министру внутренних дел, в котором, кроме чтения и напечатания возмутительных стихов, инкриминировалось Кюхельбекеру, что он в обществе «приватно называл государя Тиберием». Кюхельбекер хотел было скрыться куда-нибудь подальше, например, в Дерпт, где надеялся в университете занять кафедру русского языка, как вдруг подвернулся счастливый случай.

Вельможа, богач и меценат, знаменитый остро слов, знаток музыки и живописи, А. Л. Нарышкин, искал секретаря для ведения корреспонденции на трех языках, для поездки за границу. Ему рекомендовали для этой цели поэта Дельвига, но Дельвиг не поехал и рекомендовал своего друга Кюхельбекера. Родителей Кюхельбекера Нарышкин хорошо знал по царствованию Павла (отец Кюхельбекера был первым директором Павловского — личного имения Павла еще в бытность его наследником); об этом свидетельствуют поклоны в письмах Кюхельбекера из-за границы к матери: принципал никогда не забывает ей поклониться.

Можно сомневаться, подходил ли Кюхельбекер к роли секретаря вельможи, но, конечно, он был вполне подготовлен для путешествия по Европе. Дело в том, что именно в 1819—1820 гг. он совершил воображаемое путешествие по ней. Таковы его замечательные «Европейские письма», которые он напечатал в журналах в 1820 г. В «предуведомлении» он так объяснял цель своего воображаемого путешествия: «Чтобы судить о современных происшествиях, нравах и вероятных их последствиях, должно мысленно перенестись в другое время. В Европейских письмах мы предполагаем, рассматривая события, законы, страсти и обыкновения веков минувших, быстрым взглядом окинуть и наш век. Посему мы мысленно переносимся в будущее. Американец, гражданин северных областей, путешествует в 26 столетии по Европе; она уже снова одичала, и наблюдатель-странник пишет к своему другу о прошлой славе, о прошлом величии, о прошлом просвещении». Таким образом, основа этих фантастических писем вполне реальна, — это, в сущности, исторический очерк современной автору Европы; автор собирается затронуть и свой век. Фантастическая часть была шаткой и придуманной наскоро: так, последующие письма именуются уже подробно: «Европейские письма, или путешествие жителя Американских Северных Штатов 25 столетия»¹ (а мы видели, что ранее речь шла о 26-м столетии). Первое же письмо показывает и назначение фантастической окраски — несколько отвлечь внимание от реальной основы. Испанское революционное движение началось в Кадиксе в 1819 г. с недовольства испанских воинских частей, отправлявшихся в Америку для усмирения беспорядков в колониях. И вот первое «Европейское письмо» носит дату: «Кадикс, 1 июля 2519 года», а во втором письме, из древнего Эскуриала, Кюхельбекер уже открыто говорит об испанской революции; он вспоминает о «веке Буонапарта»: «Испания, наводненная необузданными полчищами Мюрата; минутное царствование короля Иосифа; Испания в борьбе за свободу и независимость — за священнейшие права народов: великий и назидательный пример для потомства!».

К истории Европы Кюхельбекер относится с точки зрения задач своего времени, а стало быть, с точки зрения будущего; он вовсе не склонен

идеализировать всю историю и преклоняться перед всеми историческими деятелями: «Читаю Тацита и благодарю бога, что между нами ныне уже не может родиться Тацит: ибо не могут родиться Нероны и Тиберии. Как тщетны и безрассудны жалобы тех, которые грустят и горюют об отцветших украшениях веков минувших! Они забывают, что богатства прошлых столетий не потеряны... Усовершенствование цель человечества:



В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Акварель П. Л. Яковлева в альбоме А. Е. Измайлова, 1821 г.

Литературный музей, Москва

пути к нему разнообразны до бесконечности... человечество подвигается вперед» (письмо 9-е).

Эта вера в «усовершенствование человечества» — основной пункт в его отношении к истории. Рассматривая постепенное расширение географических границ культуры, он с удивлением констатирует узость древней культуры: «Как тесен, как мал феатр, на котором является глазам наблюдателя художественное греческое развитие ума человеческого: Атика, Коринф, некоторые города великой Греции, Сицилии и Малой Азии — и вот все».

К древнему миру он относится без всякой идеализации: «Большая часть жителей Эллады находилась в самом жесточайшем рабстве, между тем как некоторые, присвоив себе исключительно название граждан, буйствовали и думали, что они свободны, изгоняя Аристида и повинувшись шалуну Алкибиаду. В Риме Катоны не стыдились быть ростовщиками, Цесарь был соумышленником Катилины и назывался супругом всех Римлян, супругою всех Римлян; Агриппа и Юлия могли присутствовать при ужасных зрелищах, в коих мечебойцы резали друг друга в увеселение жестокого народа, который называл себя царем вселенной и терпеливо рабствовал бессмысленному Клавдию и чудовищному дитяти Гелиогабалу. Не говорю тебе уже о Европейцах: раскрой их историю и оцепенеешь, подумаешь, что ты читаешь летопись диких зверей. Но забудем частные заблуждения: их нравы вообще были мягче нравов Римских, и люди более пользовались правами людей, чем в греческих самозванцах-республиках, и хотя обыкновенно не соблюдали правил нравственности, по крайней мере признавали ее Феорию».

Откуда взялось здесь отсутствие исторической лести, обычного возвеличения равно всех исторических персонажей, и кто таков «американец 25 столетия»?

У Кюхельбекера, будущего декабриста, в высокой степени были развиты чувство великого исторического будущего, ожидавшего его родину, и твердая вера в «усовершенствование человечества». Его «Америка»—это будущая Россия декабриста; он сознает молодость и значение своей страны, в сравнении с которою Европа обветшала. (Ср. у Пушкина: «Давно ли ветхая Европа свирепела?»)

Нет у него раболепства и по отношению к недавнему прошлому—веку просвещения—и к самому XIX веку: «Вообще, сколько мне кажется, обязанность всякого мыслящего выводить по возможности из того заблуждения, в котором [находится] большая часть наших историков и политиков в рассуждении мнимого просвещения времен Вольтера и Фридриха. Сколько вещей, которые бы должны всем разуверить всякого!—Не говоря уже об инквизиции и пытке, о гонениях на людей мыслящих, взглянем только на систему Меркантилистов, на заблуждение Физиократов, на то сопротивление, которое встречал Адам Смит даже и в 19 столетии своим простым и мудрым наставлениям; взглянем на коварную политику Наполеона; на беспрестанные нарушения равновесия и священнейших прав человечества; и мы, живя в счастливое время, когда политика и нравственность одно и то же, когда правительства и народы общими силами стремятся к одной цели, мы перестанем жалеть, как некогда жалели некоторые в Европе, о Золотом Греческом периоде,—перестанем жалеть о веках 17-м и 18-м» (письмо 4-е).

Для взгляда Кюхельбекера на будущее не только век просвещения, но и начало XIX столетия,—с «коварною политикой Наполеона», с беспрестанным нарушением прав человечества,—прошлое, заслуживающее осуждения. Он говорит о прошлом для американца 26-го столетия, т. е. о своем настоящем: «Купец, воин, гражданский чиновник, духовный презирали и ненавидели взаимно друг друга; они не только не были людьми, они даже не были гражданами».

И, вместе с тем, он «уверен, что человек немгновенен, что и род человеческий самыми переменами, самыми мнимыми разрушениями зреет и совершенствуется» (письмо 6-е). И последнее письмо (8-е, из Рима)

он заканчивает: «Не сомневаюсь, что настанет время, когда быть порочным и быть сумасшедшим—будет одним и тем же... Мы уже гораздо менее злополучных предков наших удалены от сего блаженного века. Конечно, пройдут, быть может, еще тысячелетия, пока не достигнет человечество сей высшей степени ч е л о в е ч н о с т и; но оно достигнет ее, или вся история не что иное, как глупая и вместе ужасная своим бессмыслием сказка!».

Теперь он отправился в путешествие реальное. Он мог проверить свои мысли и утвердить или потерять свою веру. Мысли о новой русской поэзии (поэма Пушкина «Руслан и Людмила» вышла в конце мая), о народных песнях—старой «простонародной» русской поэзии, о великом значении своей родины, вера в усовершенствование человечества,—вот что он вез с собой в чужие края.

Перед отъездом он писал матери (оригинал по-немецки): «Я не поеду в Дорпат, но еду путешествовать с Александром Львовичем Нарышкиным за границу. Наше путешествие будет для меня очень интересно и полезно. Мы поедем в Дрезден, оттуда в Вену; из Вены—в Северную Италию и зиму пробудем в Риме. Лето мы проведем наполовину в Париже, наполовину в Южной Франции; зимой вернемся в Париж, а весной морем проедем в Лондон, откуда, после двухлетнего путешествия по лучшим местам Европы, вернемся морем в отечество.—Я буду путешествовать совсем один, с Александром Львовичем и его врачом; супруга [Нарышкина] остается здесь.—Вы его знаете; он принял меня с большою доброю и, кажется, меня полюбил. Я буду получать ежегодно по три тысячи рублей *défrayé de tout*. Моей обязанностью будет вести его корреспонденцию на трех языках.—Сегодня вечером меня посетили три моих ученика, чтобы попрощаться: Соболевский, Глебов и Пушкин, брат моего несчастного друга. Добрые мальчики очень смягчили мое сердце; представьте себе: они отрезали прядь моих волос на память»².

В стихотворении «Прощание», написанном перед отъездом, ясны чувства и ожидания, с которыми Кюхельбекер пускался в путь; стихотворение не было напечатано. Оно находится в рукописном сборнике стихотворений Кюхельбекера, хранившемся у Пушкина (ныне в Пушкинском доме). После смерти Пушкина жандармы перенумеровали в сборнике страницы, повидимому, приняв его за рукопись Пушкина.

ПРОЩАНИЕ

Прости, отчизна дорогая!
Простите, добрые друзья!
Уже сижу в коляске я,
Надеждой время упряждая.

Уже волшебница Мечта
Рисует мне обитель Славы,
Тевтонов древние дубравы
И их живые города!

А там встают седые горы,
Влекут и ослепляют взоры
И хмурясь, всходят до небес!
О гроб и колыбель чудес,

О град бессмертья, муз и брани!
Отец народов, вечный Рим!—
К тебе я простираю длани,
Желаньем пламенным томим.

Я вижу в радужном сиянье
И Галлию и Альбион!
Кругом меня очарованье,
Горит и блещет небосклон.

Пируй и веселись, мой Гений!
Какая жатва вдохновений!
Какая пища для души—
В ее божественной тиши
Златая дивная природа...
Тяжелая гроза страстей,
Вооруженная Свобода,
Борьба народов и царей!

Не в капище ли Мельпомены
Я, ожиданий полн, вступил?
Не в храм ли тайных, грозных Сил,
Взирающих на жизнь вселенной—
Для них все ясно, все измены,
Все сокровенности сердец,
Всех дел и помыслов конец!
Святые, страшные картины!

Но, верьте! и в странах чужбины
И там вам верен буду я,
О вы, души моей друзья!—
И пусть поэтом я не буду,
Когда на миг тебя забуду,
Тебя, смиренная семья,—
Где юноши-певцы сходились,
Где их ласкали, как родных,
Где мы в мечтаньях золотых
Душой и жизни делились.

Так, он предчувствует не только новую невиданную им природу, но и зрелище «вооруженной Свободы, борьбы народов и царей» (1 января 1820 г. произошла испанская революция, в июле 1820 г.—восстание в Неаполе). Кюхельбекер торжественно готовится вступить в «капище Мельпомены»—исторической, в «храм тайных, грозных Сил». И, как всегда, готов и впредь не забывать о «семье друзей», «юношей-певцов»—о дружбе, которая с начала до конца его жизни была для него главным жизненным содержанием и культом.

8 сентября 1820 г. Кюхельбекер выехал за границу. Ехал он, действительно, в коляске с врачом Нарышкина, доктором Алиманном. За границей он пробыл около года. Альбиона он не посетил, но зато был в Германии, Франции, Италии, о которых писал в стихотворении. Обязанности его всего менее обременяли, потому что беспечный и праздный патрон разлучался с ним по целым месяцам. (Так, в Германии он один уехал в Лейпциг, во Франции—в Монпелье). Путешествие Кюхельбекера по-

знакомило его с целым рядом выдающихся западных писателей и деятелей и столкнуло лицом к лицу с революционными событиями, тогда развивавшимися. Кюхельбекер стал за время путешествия посредником между русскою и западною литературой, а вернувшись—между западною и русскою общественною мыслью.

Кюхельбекер был, как мы видели, далек от ложного смирения перед Западом. 1812 год показал русские народные силы, изумившие весь мир. Радикальная литературная среда Вольного общества и других преддекабрьских очагов была проникнута желанием немедленной отмены крепостного рабства для крестьянства, доказавшего высокий героизм. Уважение к народному языку, как к источнику обновления языка литературного, распространялось все шире. Кюхельбекер—острый наблюдатель. Он отмечает, например, в Пруссии черты европейского рабства: «Германцы доказали в последнее время, что они любят свободу и не рождены быть рабами [намек на Карла Занда, казненного в 1820 г.—Ю. Т.]: но между их обыкновениями некоторые должны казаться унижительными и рабскими всякому, к ним непривыкшему»,—пишет он и далее говорит об употреблении портшезов, которые несут на себе люди, об обычае заставлять сирот петь за деньги и пр.

В Дрездене он не только внимательно изучает картинную галерею, которая является предметом его обширного описания (он намеревался издать его отдельно), но и посещает предместья; в беллетристическом отрывке, отразившем впечатления от путешествия, он пишет: «Одно из предместий Дрездена называется Фридрихштатом; здесь живут почти одни нищие и поденщики; здесь царствуют бедность и уныние,—воздух нездоровый, улицы тесные, почва покатая и болотистая, непомерное многолюдие зарождает в сем предместии почти беспрестанные болезни и всегдашнее бессилие. Может быть, нигде на свете не встречаешь вдруг столько калек, горбатых, уродов всякого разбору.—Лица желтые, глаза впалые, взор потупленный отличают обитателей Фридрихштата от прочих Саксонцев и Дрезденцев».

Вместе с тем, блестящая столичная русская культура 20-х годов заставляла Кюхельбекера критически относиться ко многому на Западе. Берлинские учебные заведения кажутся ему, например, решительно захудалыми по сравнению с петербургскими, самое направление преподавания—реакционным и отсталым. (Сам Кюхельбекер был очень деятельным педагогом и воспитателем в новых либеральных учреждениях, например, в Педагогическом институте в Петербурге, деятельным членом О-ва ланкастерских взаимных обучений и т. д.).

В Германии он виделся с Тиком и сблизился с Гёте. При встрече с вождем романтиков он не удержался от полемики и пожалел, что Новалис (сочинения которого были незадолго перед тем изданы Тиком), при пылком воображении, «не старался быть ясным и совершенно утонул в мистических тонкостях».

Другими были встречи с Гёте. В неизвестной до сих пор записи Кюхельбекер говорит о них: «Мое первое знакомство с Гете не могло меня обнадежить приобрести его благосклонность. Однако же мы наконец довольно сблизились: он подарил мне на память свое последнее драматическое произведение и охотно объяснил мне в своих стихотворениях все то, что мог я узнать единственно от самого автора. Так, например, поверил он мне, что прелестная Евфрозина, которую уже в С.-Петер-

бурге считал я не за одно создание воображения, существовала в самом деле и была его питомицей. Известие об ее смерти получил он в Швейцарии: потому-то в его элегии ее тень является ему среди гор и утесов³. Гете позволил мне писать к себе и, кажется, желает, чтобы в своих письмах я ему объяснял свойство нашей поэзии и языка Русского: считаю приятной обязанностью исполнить его требование и по возвращении в С.-Петербург займусь этими письмами, в которых особенно постараюсь обратить внимание на Историю нашей словесности, на нашу простонародную поэзию и на ее просодию».

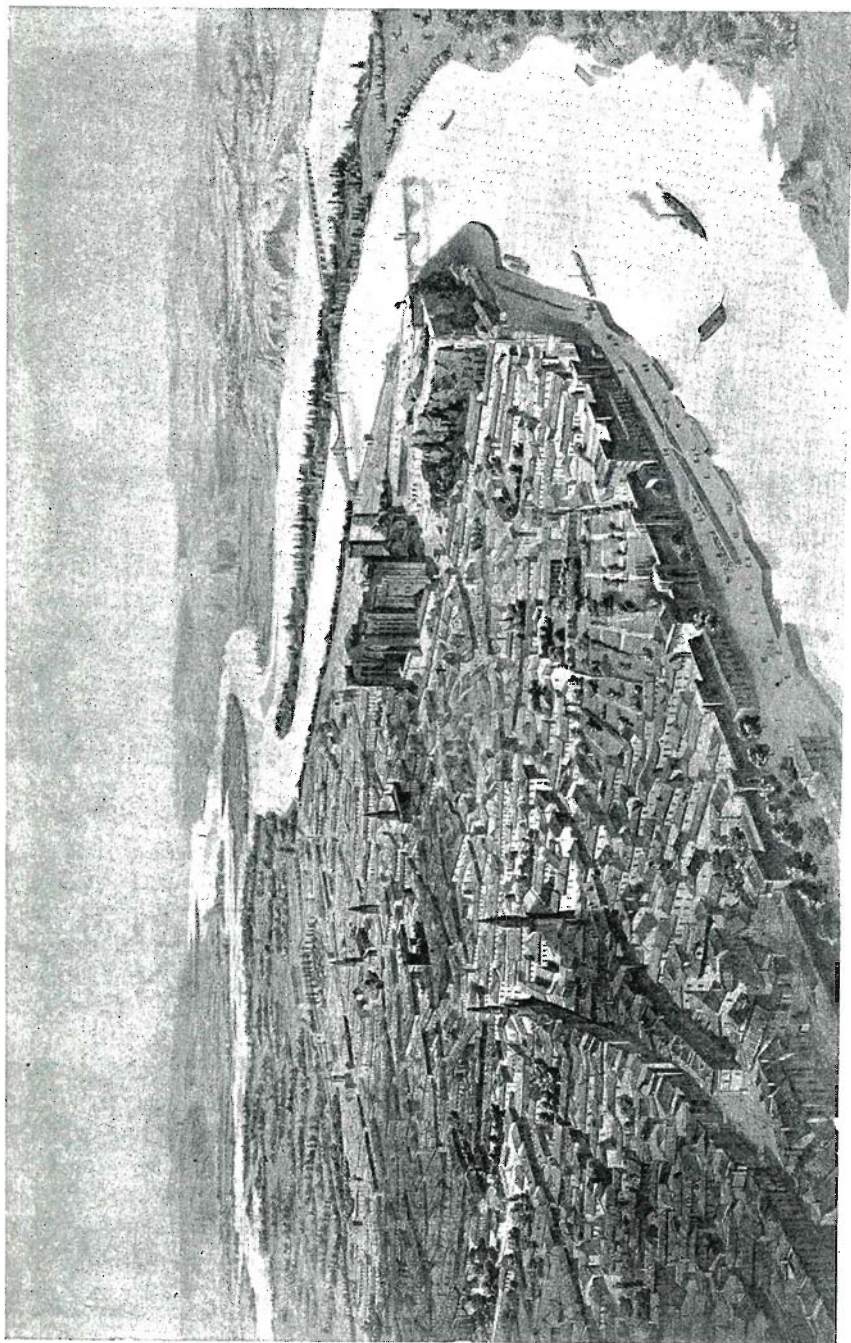
Последующая жизнь Кюхельбекера была слишком бурная, и своего обещания он не мог выполнить. Но приведенное воспоминание позволяет оценить его роль посредника между молодой русской поэзией и величайшими писателями Запада—роль, к которой он вполне подходил. «История словесности» и «простонародная поэзия»—темы разговоров с Гёте—характеризуют широту и зрелость литературных взглядов Кюхельбекера.

В письме к матери из Веймара от 17 ноября 1820 г. он пишет о том, что Гёте принял его очень хорошо и что он очень интересуется русской литературой («er war gegen mich sehr gütig, und schien sich für russische Literatur recht sehr zu interessieren») и подарил ему на память свое новое произведение⁴. Он начинает это письмо с бодрого признания: «Деятельная, живая жизнь пробудилась во мне», и кончает надеждой: «Очень поучительной была для меня Германия, Франция будет не менее поучительной».

Они путешествовали быстро. В декабре 1820 г., уже в Лионе, Кюхельбекер отметил: «Мы летим, а не путешествуем». Первоначальный план путешествия изменился: они посетили Карлсруэ (8 декабря), Страсбург (13 декабря), Кольмар, Безансон, Лион и, наконец, Марсель. Прованс производит на северянина ошеломляющее впечатление. В 1833 г., уже в крепости, он вспоминает о Провансе в стихах, совершенно необычных для него по мелодичности (начало 5-го «разговора» «поэмы в разговорах» С и р о т а).

Приводим здесь эти стихи:

Страну я помню: там валы седые
Дробятся, пенясь у подножья скал;
А скалы мирт кудрявый увенчал,
Им кипарис возвышенный и стройный
Дарует хлад и сумрак в полдень знойный,
И зонтик пиния над их главой
Раскинула; в стране волшебной той
В зеленой тьме горит лимон златой,
И померанец багрецом Авроры
Зовет и манит длань, гортань и взоры.
И под навесом виноградных лоз
Восходит фимиам гвоздик и роз,—
Пришлец идет, дыханьем их обвеян.
Там, в древнем граде доблестных Фокеян,
И болен и один в те дни я жил.
При блеске сладостных ночных светил
(Когда, сдастся, на крылах Зефира



ВИД АВИНЬОНА
Литография Жоржа Мюллера с рисунка Гедона
Музей изобразительных искусств, Москва

Привет несется из иного мира,
 Когда по лону молчаливых волн,
 Как привиденье, запоздалый чолн,
 Таинственный, скользит из темной дали;
 Когда с гитарой песнь из уст печали,
 Из уст любви раздастся под окном
 Прекрасной провансалки)—редко сном
 Я забывался, а мой врач жестокий
 Бродить мне запретил.—Что ж, одинокий,
 Я дельвал? Сиж у камелька,
 Гляжу на пламя; душу же тоска
 Влечет туда, где не смеялись розы
 В то время—нет! крещенские морозы
 Неву одели в саван ледяной.
 Кто променяет и на рай земной
 Тот край, который дорог нам с рожденья?

Он сталкивается здесь с памятниками истории древней и новой, и та история, с которой он так смело обращался в своем воображаемом путешествии, здесь, в реальности, его пугает и отталкивает.

Он записывает где-то около Авиньона: «[Памятники] феодального дворянства 18-го столетия, разрушенные якобинцами, кажутся здесь современниками; возле бань проконсульских, гробниц патрициев или загородных домов сенаторов здесь повсюду замки и кремни, служившие обителью вассалам королевства Бургундского и Арльского; они вместе тлеют на горах и утесах, только Римские развалины своею огромности как-будто бы напоминают племя исполинов и не имеют с зданиями готическими ничего общего—здесь для путешественника остов всей Истории,—но он смотрит на него с тем чувством, с которым смотришь на остов человеческого,—с содроганием». Он чувствует страх и перед якобинцами.

Кюхельбекер хворал; он жил в обществе врача и дрезденского живописца, которого Нарышкин взял с собою из Дрездена в путешествие, слушал воспоминания Нарышкина о Екатерине и прежних его путешествиях, а между тем, прислушивался к народной поэзии—слушал «певиц и певунов Прованса», «канцоны венецианских гондольеров», «романсы бедных детей Савойи, умиленные по простоте своего содержания и своей мелодии».

Новый год он встретил в Марселе. Нарышкин ведет широкую жизнь и любит пестрое общество. 21 января Кюхельбекер записывает: «С некоторого времени обеды Александра Львовича напоминают мне оду Державина к отцу его:

Оставя короли престолы
 И ханы у тебя гостят,
 Киргизы, Немчины, Моголы
 Салму и соусы едят!

У нас на-днях попеременно обедали турки, начальник Египетского ко-рабля и несколько греков, Фиц Виллиямс, брат известного члена английского парламента, принц Баденский, лифляндский граф и французы разного калибра. Турка был для меня чрезвычайно занимателен; у него и тени не было нашей европейской принужденности».

В Париже Кюхельбекер познакомился с художником Фонтенье; вообще он охотно записывает впечатления от картин. Так, в Марселе, в карантинном доме, он видел произведшую на него глубокое впечатление картину Давида и барельеф Пюже, посвященные изображению марсельской чумы. Побывал он и в «простонародном» театре, который превосходно описал. Вместе с тем, первоначальное радужное настроение исчезло: Кюхельбекера начинает тянуть домой. Он пишет матери из Марселя 10 февраля (29 января) 1821 г.: «С некоторого времени мучит меня довольно сильно тоска по родине, и если бы Париж и, возможно, Лондон не были целью нашего путешествия, мне бы хотелось прямым путем обратно в Петербург. Итальянское небо—это все же не отечество» (оригинал по-немецки).

24 февраля 1821 г. он записывает: «Завтра мы едем из Марселя в Ниццу. Ницца уже в Италии, но, к несчастью, здесь остановимся и обратимся назад; нам издали покажут Италию, но не дадут отвесть ее».

Дорожная остановка в Тулоне вызвала запись Кюхельбекера, превосходно рисующую его, как путешественника,—легко падающего духом, любопытного.

Не будучи в состоянии видеть беспорядка при отъезде, который его «всякий раз лишает способности связать две мысли сряду, расстраивает и приводит кровь в волнение», он избегал своей комнаты и бродил по Марселю. «При самом нашем въезде в Тулон встретились нам каторжники в красных рубахах, скованные по два—их выгоняли на работу».

В Тулоне в первый раз он переживает чувство полной свободы и независимости, в духе Байрона: «Передо мною открылся вид необозримый: Тулон с пристанью; долина, усеянная домиками; каменные холмы, покрытые садами; прекрасное море во всем своем блеске с островами, мысами и бесчисленными судами.—Я сел на гранитный обломок; я был совершенно один; только сто шагов от меня висела на выдавшемся камне коза, которая, бог весть, как?—отделилась от стада. Свежий морской ветер свел с меня усталость.—Странное, дикое чувство свободы и надменности наполнило мою душу: я радовался, я был счастлив, потому что никакая человеческая власть до меня не достигала и [ничто] не напоминало мне зависимости, подчиненности, всех неприятностей, неразлучных с порядком гражданского общества!» При переезде из Виллафранки в Ниццу он подвергся нападению гондольера. В послании к Пушкину он так писал об этом:

...в пучинах тихоструйных
Я в ночь, безмолвен и уныл,
С убийцей-гондольером плыл...

И тут же сделал примечание: «Отправляясь из Вилла-Франки в Ниццу морем, в глухую ночь, я подвергся было опасности быть брошенным в воды». Что это был за эпизод (весьма характерный для того бурного времени), остается неизвестным.

2 марта (нового стиля) он в Ницце, и перед этой записью—позднее вписанное заглавие: «Въезд в Италию». Природа Ниццы и Виллафранки кажется ему землею обетованною. Но одна любопытная сцена показывает, как близки были ему другие впечатления. Он посетил монастырь Сен-Симье—«обитель капуцинов ордена Доминика». «...На холме несколько выше прочего сада—роща кипарисов, темная, уединенная, насажденная для тихого размышления.—«Сюда—подумал я—сюда от сует и шуму, от людей и пороков!». Но я спустился в сад, я взглянул на мона-

хов: на лицах некоторых были написаны фанатизм и бессмыслие; другие казались хитрыми и лукавыми лицемерами; я увидел четырех или пятерых, которым не было и двадцати лет, которые еще не знали жизни, не просвещались ее скорбью и радостями, и следовательно не могли жаждать единственного истинного благоуспокоения. Я с ужасом сказал себе: «Их страсти еще спят, но они рано или поздно проснутся и горе тогда злополучным!». Мне стало душно в этих стенах и я из них почти выбежал: казалось, минута замедления лишит меня свободы, лишит возможности возвратиться в свет, где могу и должен думать, трудиться, страдать, бороться с жизнью».

Так он заметил среди прекрасной природы неблагополучие: французских каторжников, итальянских монахов. Монахи особенно поразили его. И недаром: в Сардинском королевстве (в состав которого входили Пьемонт и Ницца) царствовала черная клерикальная реакция иезуитов, были уничтожены какие-либо следы радикального равноправия, введенные было при французах; суды колесовали и четвертовали за малейшее проявление вольномыслия.

Между тем,—что ускользнуло пока от внимания путешественника,—по всему королевству кипела деятельность карбонариев. Запись о монахах датирована 8 марта, а через два дня началась в стране революция: в Александрии вспыхнуло восстание; восставшие солдаты захватили крепость и провозгласили испанскую конституцию.

Кюхельбекер покидал Ниццу в «хаосе чувств и мыслей противоречивых»: «Слухи, распространившиеся в последние дни моей бытности в Ницце об движении пьемонтских карбонариев, бунт Александрии и ропот армии, предчувствие войны и разрушения удвоили мое уныние».

Эта запись уже носит дату 16/4 марта и оканчивается стихотворением «Ницца», отразившим в полной мере чувства, о которых он говорит выше.

Край, посещенный им,—«область браней и свободы, рабских и сердечных уз». Его предчувствия безотрадны: он не сомневается в победе австрийцев («тудесков»), собирающихся раздавить народное движение.

Гром завоюет; зарев блески
Ослепят унылый взор:
Ненавистные тудески
Ниспадут с ужасных гор.
Смерть из тысяч ружей грянет,
В тысячах штыков сверкнет;
Не родясь, весна увянет,
Вольность, не родясь, умрет!

Противоречие между жизнью природы и человеческой жизнью сокрушает его:

Здесь душа в лугах шелковых,
Жизнь и в камнях, и в водах!
Что ж закон судеб суровых
Шлет сюда и месть и страх?

И стихотворение кончается воспоминанием, преследующим его, о цепях французских каторжников, звон которых он слышал перед въездом в Ниццу:

Здесь я видел обещанье
Светлых, беззаботных дней:
Но и здесь не спит страданье,
Муз пугает звук цепей.

Этот робкий путешественник, ненавидящий врагов вольности—«тудесков» и, вместе с тем, страшщийся народных волнений «черни», предчувствующий с самого начала поражение восстания, не напоминает еще человека, действовавшего через четыре с лишним года с оружием в руках на Сенатской площади и стрелявшего в вел. кн. Михаила Павловича. Но боязнь выступлений «черни», при общем сочувствии освободительному движению,—черта, характерная для того крыла декабристов, к которому позднее принадлежал Кюхельбекер.

В одной из более ранних записей читаем: «Нас ожидает шерлоная [?] вселенная Парижская со всею грязью, со всем своим блеском и великолепием». Мы имеем возможность установить время прибытия Кюхельбекера в Париж. В номере газеты «Constitutionnel» от 1 апреля 1821 г. имеется заметка, датированная 31 марта: «Король принял на особой аудиенции г. Нарышкина (M. Nariskin), обер-камергера (grand-chambellan) императора России». Таким образом, Кюхельбекер прибыл в Париж в конце марта (нового стиля) 1821 г. И рукопись «Путешествия» кончается первую парижскую записью 27/15 марта: «Наконец я в Париже... что сказать о впечатлении, сделанном на меня новым Вавилоном, новыми Афинами? Я еще оглушен и не в состоянии ни восхищаться им, ни бранить его, ни бросать вокруг себя оптимизм, как то, говоря о Париже, обязанность всякого порядочного путешественника».

Весна 1821 г. была бурным временем для Парижа и Франции. Колеблющаяся и шаткая политика Людовика XVIII, все время со дня возвращения чувствовавшего себя скорее самозванцем, чем легитимным монархом, его шаткая «система качелей»—«système de bascule» грозила крушением. Весь 1820 г. был ознаменован уличными выступлениями недовольных, в том числе студенческой молодежи. Рознь между монархией Бурбонов и общественным мнением обозначалась все резче; с одной стороны, действовали ультрароялисты, предводимые графом д'Артуа, будущим Карлом X, с другой—все большую силу приобретали либералы, одним из главных и признанных вождей которых был Бенжамен Констан.

О пребывании Кюхельбекера в Париже сохранилось множество слухов и даже легенд. Из достоверных свидетельств, прежде всего, уцелел листок с лаконической записью Кюхельбекера, до сих пор не известный и являющийся самым важным и самым достоверным, хотя, к сожалению, далеко не полным, свидетельством.

Приводим его; листок записан с обеих сторон и содержит две отдельные записи:

4 апреля
23 марта

Баллет Клари.

Тальма, Лувр, Люксанбур, Тюлерии, Французская Опера, Варьете, Ш(е)валье Ланглез, Вери, Дюппинк (или как Дюпень), Жюльен, Гетеры, Кофейные дома, Письма из С. Петерб., встречи с старыми знакомыми, новые, минутные знакомства, <открытое> заседание во Француз. Институте, похвальная речь <на> Кавалеру Бенксу,—нищие, грязь, происшествия всякого рода, Пале Рояль, целомудрие вашего друга,—<посреди Пале-Рояль> <проект[ты]> воздушные башни, которые он строит <в столи[це] и пр[очее]>. Кафедра (Фр.) в Афинее, <на> с которой он <себ[я]> <он> в воображении он уже знакомит французов с вашими стихами, с вашей прозою: вот <что он> о чем <он> я хотел бы <по> говорить с вами, но еще до сих пор не в состоянии.

19
7 апреля

Продолжаю свои лаконические отметки:

Жюльен, Жуи, Бенжамен, Камера Депутатов, действие на меня статуи—Аполлон убийца ящериц, два Бахуса, два Фавна, Диана с Ланью, боец Боргезский—вечера у Лангле и Жюльена: <отв[ет]> тонкое замечание первого.—Туманский.—Гейберг.—Франкони. Моя интрига.—Мамзель Марс.—Смерть Жозефины и Корсакова.—Смерть Мануэла.—Баггезен—Лекции.—Слабрэндорф—Потье и Перле.—Итальянская Опера—Ноцци ди Фигаро—Пелегрини—Фодор.

Перед нами—план путевых заметок о Париже, набросанный вскоре после приезда и оставшийся неосуществленным; Кюхельбекер не имел времени в Париже для литературной работы, а приехав, долго рассчитывал на издание записок (часть которых напечатал в своем альманахе «Мнемозина» и журнале «Соревнователь Просвещения»). Парижское же пребывание носило у него такой характер, что нечего было и думать о печатании парижских впечатлений. Отрывки дают возможность убедиться, что Кюхельбекер недаром рвался в Париж и что он сразу окунулся в шумную жизнь мировой столицы.

Громадное место среди первых впечатлений занимает искусство (как и всегда у него): театр и музеи. Лувр произвел на него, судя по перечислению статуй, исключительное впечатление; Кюхельбекер подробно описал Дрезденскую галерею, выделив ее из «Путешествия», как самостоятельный очерк. Быть может, он намеревался сделать то же и с Лувром.

Жадность к впечатлениям у Кюхельбекера поразительная: за восемь дней он успел побывать в балете Клари, был во Французской опере, в Варьете, был в Лувре, обозревал Люксембург и Тюильри. Многие напоминало ему, вероятно, о недавних происшествиях: в опере, после убийства герцога Беррийского, была разрушена зала Лувуа, и опера помещалась в зале Фавар, а в Тюильри произошел недавно взрыв.

Театральная жизнь Парижа кипела; путешественник видел Тальма, М-ле Марс, лучшую истолковательницу Мольера, Перле, знаменитого комика Потье, Франкони, знаменитого наездника; он увлечен и уличной жизнью столицы: обедает у известного ресторатора Вери, завязывает минутные знакомства, пишет о «кофейных домах», гетерах и, с некоторым сожалением, отмечает собственное целомудрие.

Вместе с тем, он сразу же попадает в средоточие научной и политической жизни страны. 4 апреля запись: «Заседание во Французском Институте, речь похвальная Кавалеру Бенксу», а 19 апреля: «Камера Депутатов».

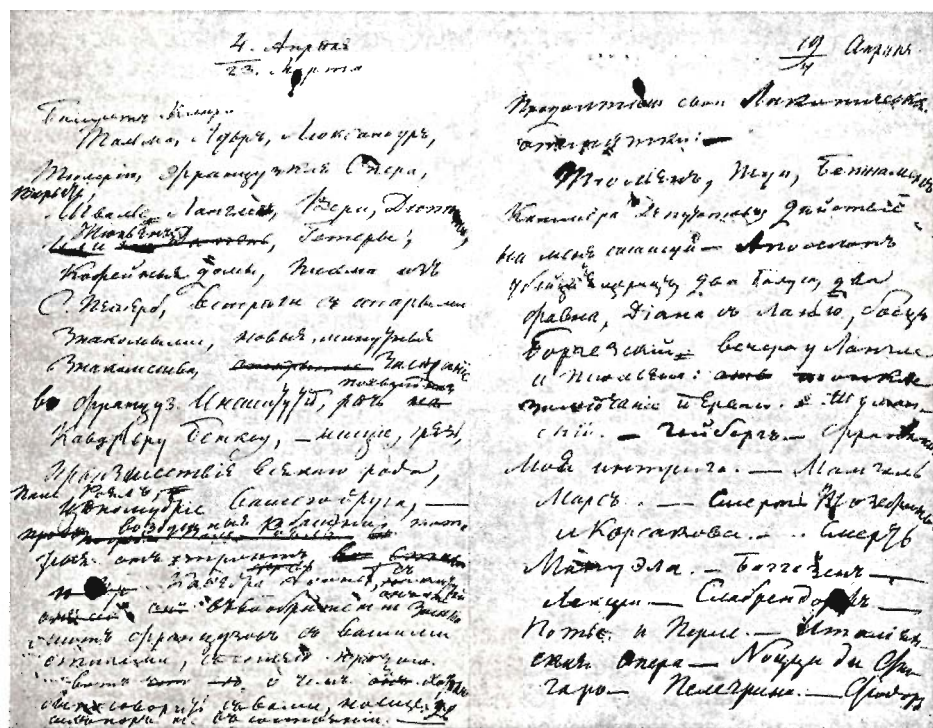
Джозеф Бенкс (1743—1820), английский ботаник и путешественник, был с 1802 г. членом Французского института. Он умер 19 июня 1820 г.; в апреле 1821 г. речь, посвященную его памяти, произнес во Французском институте Кювье. Может быть, отчасти этому непосредственному впечатлению можно приписать тот живой интерес и то преклонение, с которыми Кюхельбекер относился позднее к деятельности и трудам великого ученого. Уже сидя в Свеаборгской крепости, он встречается в журнале с именем Кювье и записывает 12 марта 1834 г.: «С удовольствием перечел я разбор Абеля Ремюза творения Кювье: голова кружится, когда соображаешь все открытия великого геолога Кювье!».

Сильное впечатление должно было произвести на будущего декабриста заседание Французской палаты. (Давая показания суду по делу 14 де-

кабря, он писал впоследствии о своем убеждении в необходимости представительного правления.) Кюхельбекер присутствовал, видимо, на заседании 18 апреля и на другой же день записал об этом (отчет об этом заседании появился в «Le Constitutionnel», в № от 19 апреля 1821 г.).

Внимательно следя за разнообразной жизнью Парижа, Кюхельбекер отмечает в первой записи «происшествия всякого рода», во второй же — «смерть Манюэла».

Кюхельбекер приехал в Париж 27/15 марта 1821 г. и пробыл в Париже



АВТОГРАФ ЗАПИСИ КЮХЕЛЬБЕКЕРА О ПАРИЖЕ

Листок с записью от 4 апреля/23 марта 1821 г. и оборот того же листка с записью от 19/7 апреля 1821 г.

Собрание Ю. Н. Тынянова, Ленинград

апрель и май. Каких же происшествий он был свидетелем или, по крайней мере, мог быть?

Мы видели, какое впечатление произвели на путешественника в Тулоне скованные каторжники. Между тем, 10 апреля был отправлен этапом кортеж скованных каторжников из тюрьмы «Бисетр» в Тулон. Среди них был Гравье, главный организатор покушения на герцогиню Беррийскую. Об этом много говорили в Париже.

10-го же апреля был убит на дуэли близ Бельвиля биржевой маклер Манюэль (Manuel), смерть которого Кюхельбекер отметил. Дуэль эта взволновала Париж. 12 апреля на похоронах Манюэля произошли беспорядки. Толпа заставила служить священников, отказавшихся исполнять обряд. Позднее, 24 апреля, Кюхельбекер мог присутствовать на заседании четырех академий (25-го выбрали Вильмэна во Французскую

академию), 19 апреля запись другого характера: «Смерть Жозефины и Корсакова».

26 сентября 1820 г. скончался во Флоренции от чахотки лицейский товарищ Пушкина и Кюхельбекера, Николай Александрович Корсаков, певец, музыкант и композитор-дилетант, писавший еще в лицее музыку на слова Пушкина. Пушкин посвятил его памяти сочувственную строфу в стихах 19 октября 1821 г. Таким образом, Кюхельбекер только в Париже, в апреле 1821 г., получил известие о смерти товарища. Уже будучи ссыльным, 10 ноября 1840 г., Кюхельбекер написал из Сибири Жуковскому письмо, которое показывает, что смерть его товарища, при том культе дружбы и товарищества, который существовал в лицее и был укреплен всей последующей литературной жизнью Кюхельбекера, была для него событием, глубоко его задевшим. Он писал Жуковскому: «Ваше письмо стану хранить с портретом матушки, с единственною дожившею до меня рукописью моего покойного отца, с последним письмом и манишечною застешкою, наследием Пушкина, и с померанцевым листком, сорванным для меня сестрицей Julie во Флоренции с гроба Корсакова; вот реликвии, которые, когда прилетит за мною мой ангел, передам моему Мише: по ним узнают мои друзья, что он сын мой»⁵.

Жозефина, о смерти которой он узнал одновременно со смертью Корсакова,—это молодая Жозефина Вельо, памятная ему по лицейским годам⁶.

В записях мы встречаем ряд имен, которые указывают, что Кюхельбекер сразу же познакомился с выдающимися литературными и общественными деятелями, сразу же очутился в самом центре интеллектуального Парижа.

Первое имя, встречающееся нам,—шевалье Ланглэс (или Ланглез; передача собственных имен у Кюхельбекера, как увидим, крайне неточна).

Луи-Матьё Ланглес (Langlès, 1763—1824), член Французского института, был видным ученым-популяризатором востоковедения и был тесно связан с русской официальной наукой. Так, в 1815 г. он был награжден орденом Владимира, а в 1818 г. был избран почетным членом С.-Петербургской академии. В 1819 г. он получил от короля знак Почетного легиона, в котором ему упорно отказывал Наполеон. Труды его были многочисленны и разнообразны: исторические (по истории Тамерлана, 1787); издание многочисленных путешествий, среди них путешествие Шардена в Персию, путешествие из Бенгалии в С.-Петербург Форстера (1802); он перевел с русского «Письма о манджурской литературе Афанасия Ларионовича Леонтьева» (1815), переводил и издавал сказки и басни персидские и индийские, составил словарь манчжурско-французский (*mantchou-français*, 1790) и т. д.

Единодушие в оценке его трудов не было. Французский Биографический словарь 1823 г.⁷, высоко оценивая его деятельность, утверждает, что не только во Франции, но и во всей Европе мало столь трудолюбивых ученых, и подчеркивает, что его богатая библиотека и коллекции открыты с редкою любезностью для всех иностранцев.

Однако, уже Биографический словарь 1842 г.⁸ характеризует все труды Ланглеса, как научно несостоятельные, и, упоминая о резкой полемике с ним Клапрота, говорит о его «азиомании», а личность его описывает в отрицательных тонах: он претендовал одновременно на роль ученого, роль писателя и вместе роль веселящегося светского человека без всяких на все это данных. Его труды оцениваются, как «посредственные публи-

кации», которые опровергались Клапротом. Впрочем, в одном согласны все: журнальная деятельность его была очень оживленной; он с 1796 г. редактировал с Дону и Боденом (Baudin) «Journal des Savants», был деятельным сотрудником «Magazin Encyclopédique», выходившего под редакцией Миллена (Millin), «Annales Encyclopédiques», «Revue Encyclopédique» и «Mercure Etranger». Конечно, не только русские связи, но и эта журнальная деятельность была качеством, интересным для путешественника, и привела Кюхельбекера в салон Ланглеса.

В записи 19/7 апреля он отмечает: «Вечера у Лангле и Жюльена: тонкое замечание первого». Таким образом, неоднократные посещения Ланглеса засвидетельствованы, а характер бесед с остроумным светским ученым и журналистом отмечен нераскрытой записью: «тонкое замечание».

Следующее имя—Верн,—повидимому, отмечено в порядке временной последовательности, а не важности; это фамилия известного ресторатора Very, ресторан которого в Пале-Рояле был в моде. Вяземский еще в 1838 г. в письме к дочери о нем отзывается: «лучшая здесь ресторация».

Зато имя, неуверенно (и неверно) переданное Кюхельбекером по-русски, как Дюппинк или Дюпень, говорит о многом. Это Георг-Бернгард Деппинг—литератор, германец по происхождению (1784—1853). Еще юношей он обосновался в Париже, а натурализовался во Франции в 1827 г. Он был связан со множеством передовых журналов, среди них, главным образом, с тем же «Magazin Encyclopédique», писал по вопросам географии, истории, состоял корреспондентом аугсбургской и кельнской газет. В его литературной деятельности явно сказывается интерес к России. В 1821 г. он редактирует совместно с Malte-Brun многотомную «Историю России» Левека. Именно к 1821 г. относится его обширная и строгая рецензия в «Annales Encyclopédiques» на «Историю государства Российского» Карамзина. Несомненно, знакомству с Деппингом следует приписать встречи Кюхельбекера с виднейшим датским писателем Баггесеном, а также и Гейбергом, имена которых встречаются в записи Кюхельбекера от 19/7 апреля.

В лице Баггесена и Гейбергов Кюхельбекер столкнулся не только с замечательными датскими литературными деятелями, но и с политическими эмигрантами. Иенс Баггесен (1764—1826), знаменитый лирик, сатирик и юморист, выступавший против романтиков, преподававший в Кильском университете, уже в 1814 г. подал в отставку, а в конце 1820 г. покинул Данию и вместе с семьей переехал в Париж, где и обосновался. Имя Гейберга может означать либо Гейберга-отца, либо Гейберга-сына. Петер-Андреас Гейберг, известный датский сатирик, ратовавший за независимость датской литературы, против слепого подражания немецкой, находившийся под влиянием французских просветителей, был изгнан из Дании в 1799 г. и жил эмигрантом в Париже до самой смерти. Его сын, выдающийся писатель и эстетик Иоганн-Людвиг Гейберг (1791—1860), жил как раз в это время у отца в Париже (с 1819 по 1822 гг.). С его отцом встречались выдающиеся французские деятели, в числе которых были издатель «Revue Encyclopédique» Жюльен и сотрудники журнала—знаменитый естествоиспытатель Кювье, философ Кузен, Беранже. Молодой Гейберг посещал Мальте-Брёна (Malte-Brun), сотрудника Деппинга по его географическим трудам и политического противника его отца, и занимался у Кювье в Ботаническом саду (Jardin des Plantes).

Весьма возможно, что общение с датскими писателями, ратовавшими за самостоятельность родной литературы и пострадавшими за свои убеж-

дения, не осталось бесследным для Кюхельбекера, который еще в 1817 г. заявлял, что лучше всего иметь литературу народную.

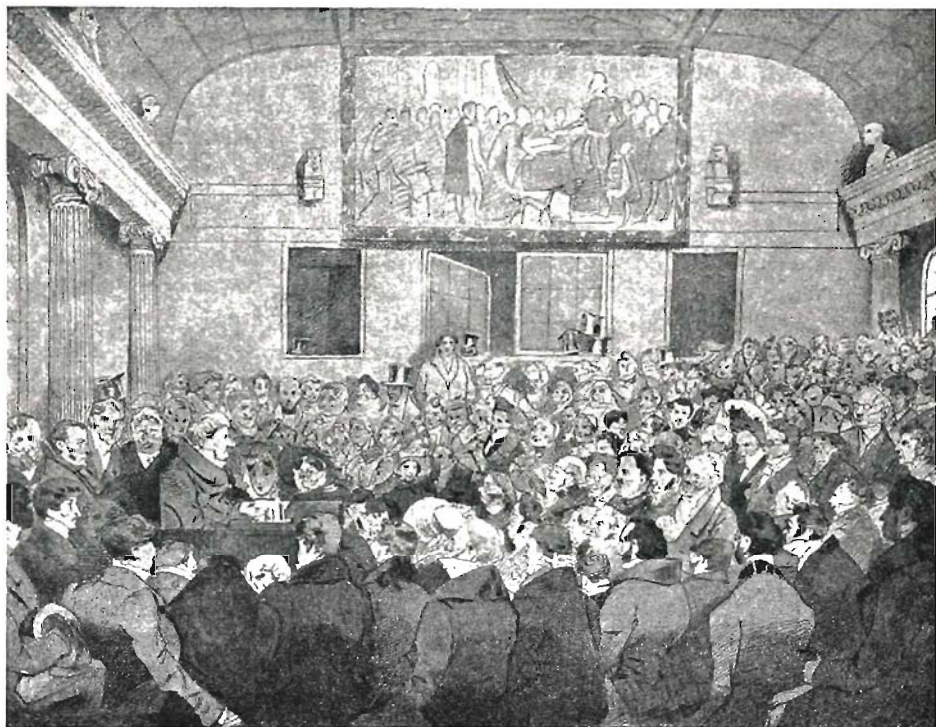
Из нефранцузских имен встречаем еще неправильно записанное Кюхельбекером имя Слабрэндорф. Это граф Густав Шлабрэндорф, немецкий эмигрант. Кюхельбекер встретил его уже стариком: он родился в 1750 г. В статье о Шлабрэндорфе 1832 г. Варнгаген фон Энзе говорит о его эмиграции, о жизни и смерти в Париже и дает ему такую характеристику: «Государственный человек без должностей, чуждавшийся родины гражданин, богатый бедняк» («amtlos Staatsmann, heimatfremd Bürger, begütert arm»)⁹. Среди разнообразных интересов и занятий этой характерной личности достаточно упомянуть о том, что он был деятельным нововводителем в области типографского дела (введение стереотипной печати)¹⁰, что им были написаны совместно с Рихардтом книги о Наполеоне и, наконец, что в последние годы жизни (он умер в 1824 г.) им была составлена богатая библиотека по Французской революции.

Совершенно особое место занимает в записях Кюхельбекера имя Туманского. С Василием Ивановичем Туманским, выдающимся лириком, Кюхельбекер был знаком, повидимому, еще до поездки за границу, но сблизились они в Париже. Туманский провел в столице Франции два года. Туманский известен, главным образом, как поэт-элегик, приятель Пушкина в одесский период его жизни (непосредственно после путешествия Туманского в Париж); менее известны его отношения с целым рядом декабристов: Бестужевым, Рылеевым и, наконец, Пестелем. Париж, с его вольностью, с вождями европейского либерализма—Констаном, Жуи и другими,—был для них общим впечатлением.

Имя Жюльена, близкого к кругу Гейбергов, встречается трижды в двух записях: в первой, от 4 апреля/23 марта, оно следует непосредственно за именем Деппинга (или Дюппинка, как его называет Кюхельбекер), во второй записи оно начинает многозначительный список новых знакомых: «Жюльен, Жуи, Бенжамен Констан» и, наконец: «вечера у Лангле и Жюльена». Все это указывает на близкое знакомство с Жюльеном и оживленные с ним отношения. Жюльен в это время был редактором широкого, открытого для всех областей знания и всех стран ежемесячного журнала «Revue Encyclopédique», объединявшего крупнейшие радикальные силы. Однако, нет сомнения, что Жюльен заинтересовал Кюхельбекера не только, как журналист,—разнообразная, богатая событиями жизнь этого человека, принимавшего самое деятельное участие во Французской революции, ее войнах и походах Наполеона,—вот что, конечно, привлекало молодого русского путешественника. Марк-Антуан Жюльен родился в 1775 г. В 1792 г., семнадцати лет, он был уже комиссаром революционных войск в Пиренеях, затем комиссаром Comité du salut public в Бордо, противником Каррье; редактировал во время революции журнал «L'Orateur Plébéien»; служил при итальянском легионе революционных войск, состоял при генерале Бонапарте, который поручил ему редактировать политические полуофициальные бюллетени под названием «Courrier de l'armée d'Italie»; 8 месяцев провел с армией в Египте; проделал неаполитанскую кампанию, был главным секретарем (secrétaire général) временного правительства Неаполитанской республики; предложил генералу Бонапарту план организации независимой, федеративной Италии; после битвы при Маренго ему было поручено составление мемуара об Италии. Он исполнял дипломатические миссии в Парме

и Голландии. Отношения его с Наполеоном были сложные, и он не раз попадал в опалу. В период вынужденного безделья он занимался вопросами воспитания и представил Александру I два мемуара: план военной и технической школы (*école militaire et industrielle*) и план административной реформы (*l'organisation simplifiée des chancelliers, ou ministres de l'empire de Russie*), заслужившие лестный отзыв и награды.

Жюльен участвовал в сражениях при Ульме и Аустерлице, нес обязанности интенданта, был приближен к Наполеону, снова впал в немилость, был во время «Ста дней» арестован и освобожден только после отречения Наполеона. При новом правительстве он впал, однако, в немилость, как



ПУБЛИЧНОЕ ЧТЕНИЕ КЮВЕ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ИНСТИТУТЕ

Литография с рисунка Г. Г. Гагарина

Частное собрание, Москва

бонапартист. Он уехал в Швейцарию, где его связывала тесная дружба с знаменитым педагогом Песталоцци (он издал в 1813 г. сочинение о его методе), а вернувшись, занимался публицистикой—был одним из основателей газеты «L'Indépendant» (затем—«Le Constitutionnel»), издал труды о выборной системе (*Sur les élections*, «Manuel Eléctoral») и в 1819 г. приступил к изданию «Revue Encyclopédique». Несомненно, человек столь бурной и разнообразной деятельности был для Кюхельбекера явлением совершенно новым и необычайно занимательным, а собеседником незаменимым¹¹.

Список новых знакомых идет у Кюхельбекера в возрастающем по их значению и интересу порядке: Жюльен, Жуи, Бенжамен Констан.

Виктор-Жозеф-Этьен Жуи (1764—1846) был разнообразным писателем. В его лице Кюхельбекер столкнулся не только с известным прозаиком,

автором многотомного «Пустынника» (*Ermite*), влиятельным литературным журналистом, сотрудником ведущих газет и журналов («*Constitutionnel*», «*Minerve*» и т. д.), но, прежде всего, с самым крупным тогдашним драматургом Франции. Он был не только признанным либреттистом таких композиторов, как Спонтини, Мегюль, Керубини, Россини, но и автором громких пьес, почти всегда, при античном историческом сюжете, наполненных злободневными политическими намеками: «*Bélisaire*» (1820), «*Sylla*» (1821). В трагедии «Велизарий» прославлялся весьма прозрачными аналогиями и намеками падший Наполеон и столь же ясны были нападки на Бурбонов. Цензура, первоначально пропустившая пьесу, затем запретила Тальма исполнять заглавную роль и изъяла ряд важнейших мест. Жуи публично читал пьесу и тогда же (1820) напечатал ее с прибавлением обширной полемики с цензурой и политической критикой. Столь же злободневна была трагедия «*Sylla*», в которой главный герой оправдывается в жестокости, ему приписываемой, объясняя ее необходимостью для римской свободы,—снова прозрачная полемика по поводу Наполеона с официальными публицистами бурбонской реставрации.

Кюхельбекер познакомился с Жуи в самый разгар его славы: еще не стерлось впечатление от «Велизария», и уже готовилось появление «*Sylla*» (премьера в *Théâtre Français* 7 декабря 1821 г.). Кроме того, в 1821 г. Жуи читал в «*Athénée Royal*» курс: «*La morale appliquée à la politique*», на котором остановимся позже; пока же заметим, что изданный в 1822 г. его курс стал любимым чтением декабристов и книга эта фигурировала в деле декабристов. Так, она была найдена у члена тайного общества Соединенных славян, майора Спиридова¹².

Третий, упоминаемый в этом перечне встреч и знакомств,—Бенжамен Констан. Николай Тургенев писал о нем: «Бенжамен Констан более всех сделал для политического воспитания не только Франции, но и остального европейского материка»¹³. О влиянии Бенжамена Констана на неаполитанских карбонариев говорит, например, такая широко распространенная газета, как «*Journal des Débats*» (номер от 4 апреля 1821 г.).

В показаниях большей части декабристов имя Бенжамена Констана фигурирует, как имя одного из идейных учителей. Его политические высказывания по отдельным вопросам, объединенные в курсе конституционной политики, были известны большей части северных декабристов. Так, вождь северных декабристов и ближайший друг Кюхельбекера, Рылеев, показывал: «Свободомыслием первоначально заразился я во время походов во Францию в 1814 и 1815 годах; потом оное постепенно возросло во мне от чтения разных современных публицистов, каковы Биньон, Бенжамен Констан и другие...»¹⁴. Совершенно то же показал и Евгений Оболенский: «Вообще способствовало тому [образу мыслей декабристов.—Ю. Т.] чтение публицистов Benjamin Constant, Vignon и проч.»¹⁵. Декабрист Митьков счел даже нужным особо оговорить в показаниях, что во время пребывания в Париже он видел Бенжамена Констана только в Камере депутатов, «куда ходил иногда из любопытства». Кюхельбекер не назвал в показаниях имени Бенжамена Констана, но едва ли возможно сомневаться в значении для него знакомства и встреч с главным идеологом либерализма. Так, одною из главных причин его «неудовольствия настоящим положением дел» Кюхельбекер показал на следствии «крайнее стеснение, которое российская словесность претерпевала в последнее время не в силу цензурного устава, но, как я полагал, от само-

управства цензоров»¹⁶. Между тем, значительная часть памфлетов, брошюр, парламентских речей и т. д. Бенжамена Констана была посвящена именно этому вопросу.

За именем Бенжамена Констана в записи Кюхельбекера следует: «Камера Депутатов», что и замыкает фразу. Можно не сомневаться, что это есть обозначение места встречи (быть может, и не первой, а условленной вслед за первой). Можно, далее, предположить, что заседание, посещенное Кюхельбекером и посвященное жгучему вопросу о голоде, комментировалось затем в личной беседе с Бенжаменом Константином.

Кроме того, Бенжамен Констан был интересен и ценен для Кюхельбекера, как писатель-романист, автор знаменитого романа «Адольф» (1815). Общеизвестны интерес Пушкина к этому роману и знаменитая строфа «Евгения Онегина», посвященная ему (22-я строфа VII главы). Кюхельбекер не имел случая в своей литературной деятельности отозваться на роман, но, сидя в одиночном заключении в Свеаборгской крепости, 4 апреля 1834 г. он перечел его (в переводе Вяземского, 1831) и посвятил ему целый день своей крепостной жизни.

4 апреля он записал: «Повесть Бенжамена де Констан: А д о л ь ф,—представляет мне богатую жатву для завтрашней отметки». 5 апреля он пишет рассуждение о романе: «Писать роман, повесть, стихотворение единственно с тем, чтобы ими доказать какую-нибудь нравственную истину, без сомнения не должно. Но иногда нравственная истина есть уже сама по себе и мысль поэтическая: в таком случае развитие поэтизма (поэтической стороны) оной—предприятие достойное усилий таланта.—К разряду таких истин принадлежит служащая основой повести Бенжамена де Констан: Адольф, без любви, единственно для удовлетворения своему тщеславию предпринимает соблазнить Элеонору; между тем худо понимает и себя и ее, успевает, но становится ее жертвою, рабом, тираном, убийцею.—Вообще в этой повести богатый запас мыслей,—много познания сердца человеческого, много тонкого, сильного, даже глубокого в частностях; смею однако думать, что она являлась бы в виде более поэтическом, если бы на нее еще яснее падал свет из той области, где господствует та тайная, грозная сила-воздаятельница, в которую примерами ужасными, доказательствами разительными, неодолимыми учит нас веровать не одна религия, но нередко события народные и жизнь лиц частных. Поэтической стороною этой общей истины в повести: Адольф [было бы] именно то, что тут погубленная Элеонора противу собственной воли становится Евменидою-мстительницею для своего губителя. Но чтобы вполне проявить поэзию этой мысли, нужно бы было происшествие более трагическое, даже несколько таинственное... В отдельных мыслях и замечаниях, которые выпишу, заметно что-то Сталевское; в них видно, как много необыкновенная женщина, бывшая для белокурого Бенжамена чем-то вроде Адольфовой Элеоноры, споспешествовала обогащению его познаниями, идеями, наблюдениями и опытами, подчас статья может, довольно горькими».

Далее следует десять выписок из романа.

Приводим первую: «Как скоро я слышал пустословных, усердно рассуждающих о самых неоспоримых, утвержденных правилах нравственности, приличия и религии—а они все это охотно ставят на одну черту—я не мог не противоречить, не потому чтобы мои мнения были противоположны, но потому что мне досадно было столь твердое, столь грубое убеждение».

В рассуждении по поводу романа слышится не критика, а настроения узника. Проекция частной драмы и личного понятия возмездия в область событий народных—глубоко индивидуальная черта Кюхельбекера. Последнее его стихотворение, направленное против всеильного шефа жандармов, Орлова, почти дословно повторяет рассуждение по поводу «Адольфа»:

Но есть, поверь мне, есть на свете Немезида,
И ею всякая приемлется обида
И в книгу вносится, и молча книгу ту
Читает день и ночь таинственная дева
И выбирает жертв, и их казнит без гнева,
Но и без жалости. За ложь и клевету
Заплотят некогда такую ж клеветою... и т. д.

Эта вера в Немезиду в области «событий народных» для представителя раздавленного декабристского движения была верою в будущее русского освободительного движения, будущее русского народа.

Именно так проявляет себя Кюхельбекер в 1834 г., к которому относится запись о Констане. В октябре 1834 г. он кончает большую стихотворную трагедию «Прокофий Ляпунов»—о первом земском ополчении против польской интервенции XVII в., полную этими настроениями. Но в рассуждении есть и черта личного знакомства—именно там, где Кюхельбекер комментирует автобиографичность повести, где он говорит о влиянии М-те де Сталь на «белокурого Бенжамена».

Встречи Кюхельбекера с Бенжаменом Константином, Жуи и Жюльеном были важны еще в одном отношении. В первой записи от 4 апреля, являющейся планом путевых записок и сделанной всего через 9 дней после прибытия в Париж (Кюхельбекер прибыл, как мы видели, 27 марта), содержится совершенно определенный план выступлений и лекций, которые Кюхельбекер собирается прочесть в Париже; после описания Пале-Рояля он говорит: «Воздушные башни, которые он¹⁷ строит. Кафедра в Афинее, с которой в воображении он уже знакомит французов с вашими стихами, с вашею прозою». Предшествующие имена Ланглеса, Деппинга, Жюльена позволяют предполагать, что именно от них и исходил первоначальный план прочесть в «Афинее» («Athénée Royal») цикл лекций о современной русской литературе.

Что представлял собою «Athénée», в котором Кюхельбекер собирался прочесть лекции? Первоначальный ответ на это, даваемый Лависсом, нас разочаровывает. Лависс считает «Атеней» местом, где читались изысканные лекции для блестящей светской публики¹⁸. Здесь, несомненно, произошла интересная ошибка: светский, блестящий характер помещения, в котором происходили собрания «Атенея», а также, с одной стороны, парадное прошлое, с другой—парадное официальное назначение учреждения подменили здесь собою истинный характер заседаний «Атенея» в 20-х годах. Здание было, действительно, блестящее. Описание помещения «Атенея» на rue Valois, Palais Royal 2, когда он был в эпоху революции «Лицеем», дает сведения об исключительной роскоши убранства и архитектурном богатстве здания¹⁹.

Официальное назначение учреждения и его аристократическое прошлое не подлежат сомнению. «Это учреждение,—читаем мы в официальном издании, относящемся ко времени, о котором мы говорим,—исключительно посвященное наукам и литературе, было учреждено Пилатром

де Розье, под покровительством старшего брата короля (ныне Людовик XVIII). Заслуженные в различных областях лица преподают здесь в продолжение большей части года. Это—арена, открытая для молодых талантов. Для того, чтобы быть принятым в это общество, нужна рекомендация двух членов. Цена абонеента 120 франков в год. Лекции начинаются с 7 часов вечера»²⁰. Однако, таково было только официальное назначение учреждения. Именно ко времени пребывания Кюхельбекера в Париже относится шум, вызванный курсом, посвященным «политической морали», читавшимся в «*Athénée Royal*» Жуи.

«*Le Courrier Français*» от 10 февраля 1821 г., излагая содержание этих лекций, описывает впечатление, ими произведенное: «Толпа стремится на каждую лекцию Жуи. Лекции о морали посещаются с таким рвением, словно это заседания Палаты депутатов или представления Итальянской оперы».

Газета излагает последнюю лекцию Жуи, и становится ясной причина успеха лекций. Верный, как и в драме, своему методу намеков и аналогий, Жуи, воздав хвалу пяти историческим деятелям, являющимся, по его словам, исключениями—Suger, L'Hôpital, Sully, Turgot, Malesherbes,—«обрушился со всем негодованием на тех, которые привели столько народов к несчастью и государей к слабости». Характерно, что имена последних в газете не названы. Закончил он лекцию рассмотрением некоторых пунктов английской конституции, причем обратил особое внимание на закон об ответственности министров, «необходимость и польза которого доказана для всех, кто признает вместе с красноречивым профессором «Атенейя», что на каждый период двух протекших столетий едва ли найдется более одного хорошего министра» («*Courrier Français*», 10. XI. 1821).

Редакцией «Литературного Наследства» любезно предоставлены мне материалы, позволяющие исключительно точно воспроизвести не только характер лекций Жуи, но и характер всего «Атенейя» в бурный период начала 20-х годов. Таково содержание рапорта барона de Lourdoueix, управлявшего отделом искусств, науки и литературы (*directeur de la division des beaux arts, sciences et belles lettres*), министру внутренних дел де Корбьеру, датированного концом 1821 г.—началом 1822 г., о деятельности «Атенейя». Рапорт начинается с того, что литературные общества существуют только в силу дозволения правительства и под определенными условиями, которые предписываются регламентом, одобренным министерством внутренних дел, и что одним из этих условий является: деятельность общества должна оставаться чуждой политике. Соглашаясь с тем, что мораль, логика и почти все вопросы философии, история и даже поэзия связаны в некоторых отношениях с общею политикою и что поэтому трудно применять в точном смысле запрещения, накладываемые судебным кодексом и регламентом литературных обществ, Лурдудэкс указывает, однако, что, при всей неизбежной широте программы занятий общества, нельзя не назвать чисто политической лекцию по поводу поправок, принятых в Камере депутатов, лекцию, в которой эти поправки обсуждаются, истолковываются, страстно оспариваются, причем делаются «прометчивые выводы» о проектах аристократии, об идеях обскурантизма и варварства, которые ей приписываются; лекцию, в которой, наконец, «нагромождаются все общие места полемики оппозиции против проекта закона, который еще подлежит обсуждению в палатах».

Именно таковы злоупотребления, продолжает Лурдуэкс, «в литературном обществе, называющем себя „Athénée Royal“» (последнее слово иронически подчеркнуто). Далее говорится о лекции профессора литературы Ленгэя (Lingay) в «Атенее», по поводу сочинений Шенье и по поводу молчания, которым обходит проект закона перепечатку сочинений философов. Указывается, что лекция, содержащая эти нападки, полностью напечатана в газете, выражающей при этом желание, чтобы члены Палаты пэров прислушались к ней. Лурдуэкс заключает, что невозможно отрицать политического характера этих лекций. При этом он добавляет: «Не в первый раз власти вынуждены вмешиваться в дела «Athénée Royal» для того, чтобы ограничить, насколько возможно, ясную революционную тенденцию претенциозной литературы, которую здесь преподают; достаточно справки, которую я получил, о том, что предыдущий министр вынужден был прекратить курс «морали», который вел в этом обществе Жуи». Далее Лурдуэкс добивается прекращения лекций Ленгэя, если министр «не предпочтет вовсе прекратить на несколько месяцев заседаний «Атенея» для того, чтобы наказать администрацию этого общества, как нарушившую условия его существования».

Насколько «Атений» был неприятен и даже опасен в глазах правительства Реставрации, видно из рапорта префекта полиции министру внутренних дел от 19 января 1825 г.:

«Уже давно парижский «Атений» привлекает внимание правительства антирелигиозными и антимонархическими доктринами, которые публично в нем проповедуются. Именно в этом обществе Тиссо, Лакретель, Бенжамен Констан и другие профессора того же учреждения последовательно развивают самые вредные принципы».

Таким образом, если уже в первой записи Кюхельбекер мечтает о влиятельной кафедре «Атенея», с которой он будет знакомить парижан с новою русскою литературою (и, конечно, в первую очередь, с творчеством друзей, к которым и обращена запись,—Пушкина, Баратынского, Дельвига), то после второй записи, в которой говорится о встречах с Бенжаменом Константином и Жуи—идейными руководителями и лекторами «Атенея», эти мечты стали действительностью.

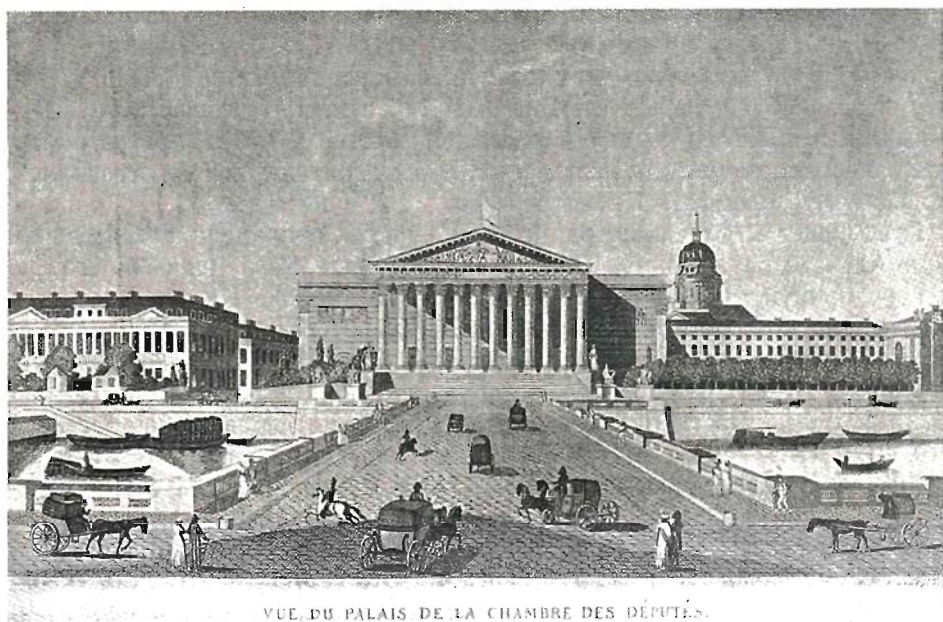
Отметим, что не только парижский путешественник думал все время о друзьях, их судьбе и творчестве. В России друзья также не забывали его. Пушкин писал Дельвигу из Кишинева 23 марта 1821 г. (когда Кюхельбекер подъезжал к Парижу): «О путешествии Кюхельбекера слышал я уж в Киеве. Желаю ему в Париже духа целомудрия, в канцелярии Нарышкина духа смиренномудрия и терпения; об духе любви не беспокоюсь: в этом нуждаться не будет; о празднословии молчу — далекий друг не может быть излишне болтлив»²¹.

Лекции Кюхельбекера в «Атенеи» читались, повидимому, в конце апреля—в мае. Мы видим, что для этого нужна была рекомендация двух членов,—повидимому, ее дали Бенжамен Констан и Жуи.

Можно предполагать, что курс лекций Кюхельбекера о русской литературе был широко задуман. Вспомним, какие историко-литературные вопросы поставил в беседах с ним Гёте («свойство нашей поэзии и языка русского») и какие темы собирался осветить Кюхельбекер в переписке с ним: особое внимание он намеревался обратить на историю русской словесности, на «простонародную» русскую поэзию и на ее просодию. С другой стороны, в непосредственных планах курса он говорит именно

о современной русской поэзии, о творчестве его друзей, т. е. Пушкина, Баратынского, Дельвига. Надо сказать, что таково и его чтение во время путешествия; в Ницце 8 марта (24 февраля) он записывает: «Перечитываю в сотый раз Батюшкова, Пушкина, Дмитриева, Державина». Конечно, в своих лекциях он говорил и о Державине, и о Дмитриеве, и о Батюшкове, и больше всего о Пушкине.

Таким образом, курс, который читал Кюхельбекер, был построен, по-видимому, именно в этих широких границах. Впечатления вольности отразились на страстности политических высказываний. Курс имел шумный успех. Уже в сибирской ссылке, на диком берегу Онона, в июле 1840 г., он вспомнил о своих лекциях в стихотворении «Три тени», посвя-



ПАЛАТА ДЕПУТАТОВ В ПАРИЖЕ
Гравюра Бланшара-отца с рисунка Курвуазье
Музей изобразительных искусств, Москва

щенном памяти друзей: Грибоедова, Дельвига, Пушкина. Он говорит о себе:

Кому рукоплескал когда-то град надменный,
Соблазн и образец, гостиница вселенной.

Но курс этот кончился ранее, чем это предполагалось. 27 июня 1821 г. старый директор Царскосельского лицея, Энгельгардт, не перестававший интересоваться (впрочем, главным образом с точки зрения репутации учебного заведения, им руководимого) жизнью питомцев первого курса (среди которых были Пушкин и Кюхельбекер), писал: «Приехав в Париж, Кюхельбекер вздумал там завести «lectures semi-publiques sur la littérature russe». Невзирая на уродливость его фигуры и отрицательный его орган, слушали его с должным участием, но чорт его дернул забраться в политику и либеральные идеи, на коих он рехнулся, запорол чепуху,

так что Нарышкин его от себя прогнал, а наш посланник запретил читать и, наконец, выслал его из Парижа. Что из него будет, бог знает, но если с ним что-нибудь сделают, то будет грех. Он свихнулся, и более ничего, но едва ли это так принято будет. Жаль его, но более жаль еще репутацию бедного лица, на который уже и без того нынешние святые жестоко нападают и хотят доказывать, что плоды нашего заведения и воспитания суть наивреднейшие для государства. Прицепились к Пушкину, теперь прицепятся к Кюхельбекеру»²². В тех же чертах, но более анекдотично описывал это позднее в своих мемуарах реакционный журналист Греч. Если не обращать внимания на тон плоских насмешек, принятый по отношению к Кюхельбекеру, на совершенно вздорное утверждение, что «часть публики смеялась над ним», на несомненно придуманный анекдот о Кюхельбекере, будто бы так жестикулировавшем, что «слетел с кафедры», на ошибку в годе (1820 вместо 1821) и т. д., можно извлечь и из записок Греча несколько черт, заслуживающих внимания. Дело в том, что лето 1825 г., перед декабрьскими событиями, Кюхельбекер, вынужденный заниматься черной журнальной работой у Греча, провел с ним, и в записках, неточных и уснащенных зубоскальством, все же отразились, повидимому, рассказы Кюхельбекера.

Греч пишет о Кюхельбекере, что он «...поехал в чужие края секретарем при Александре Львовиче Нарышкине, который было полюбил его, но вскоре принужден был с ним расстаться. В Париже Кюхельбекер свел знакомство с какими-то либеральными литераторами и вздумал читать на французском языке лекцию в «Атене» о литературе и политическом состоянии России, наполненную вздорными идеями, которые тогда (1820 г.) были в моде. Часть публики смеялась над ним; другая рукоплескала его выходкам. В конце речи он сделал какое-то размашистое движение рукою, сшиб свечу, стакан с водою, хотел удержать и сам слетел с кафедры. Один седой якобинец слушал его внимательно и поддержал со словами: «*Ménagez-vous, jeune homme! Votre patrie a besoin de vous*». Нарышкин, узнав об этом, взбесился и выгнал от себя Кюхельбекера, который пропал бы в Париже без помощи благородного Василия Ивановича Туманского (человека с замечательным талантом, неизвестно почему оставившего службу и свет). Он же помог Кюхельбекеру пробраться в Россию».

Формулировка: «о литературе и политическом состоянии России», заслуживает всяческого внимания. «Седой якобинец»—возможное воспоминание Кюхельбекера, и вероятнее всего, это Жюльен. Вероятна и роль опекуна, которую сыграл по отношению к Кюхельбекеру, оказавшемуся в отчаянном положении, поэт Туманский, о парижских встречах которого с Кюхельбекером мы уже говорили.

Поведение Нарышкина по отношению к вольнодумцу-секретарю описывается одинаково и Энгельгардтом и Гречем: он его прогнал. Уже находясь на службе у Ермолова в Тифлисе, 6 февраля 1822 г. Кюхельбекер недоброжелательно вспомнил о своем бывшем principale. Он писал о Ермолове, сравнивая его с Нарышкиным: «Мой шеф—сердечный, благородный человек; какое пространство отделяет его от непостоянного, ветренного царедворца, с которым я путешествовал!» («*welch ein Raum zwischen ihm und dem unste[ti]gen, windigen Höfling, mit dem ich gereist habe!*»). Непостоянный, ветренный царедворец—таким остался Нарышкин в памяти Кюхельбекера.

Из Парижа в Петербург Кюхельбекер вернулся в августе 1821 г. через Варшаву вместе с Туманским.

19 августа 1821 г. Александр Иванович Тургенев писал к П. А. Вяземскому из Петербурга: «Я прочел сейчас лекцию Кюхельбекера в Париже; *c'est curieux!* Между тем он здесь и умирает с голоду»²³.

Кюхельбекер скрыл от матери свои злоключения. В письме от 10 августа 1821 г. он писал ей: «Я закончил свое путешествие: совершенно восстановленное здоровье, разнообразные сведения, повеселевшее настроение и большое богатство воспоминаний,—вот в немногих словах следствие этого, в высшей степени замечательного для всей моей жизни, дара моей судьбы» (оригинал по-немецки).

Он был вполне искренен: путешествие необычайно его обогатило, и впечатления его отразились на его последующей судьбе. Впечатления путешественника сохранились в корпусе «Путешествия», которое Кюхельбекеру удалось напечатать только отрывками в журналах; парижские встречи, о которых сохранился след только в бегло набросанном плане, повлияли на него.

1821 г. как начался для него, так и окончился: бурно. Он сам удивлялся повороту своей судьбы; 29 сентября 1821 г. он писал матери из Москвы: «Новый год я встречал в Марселе, пасху провел в Париже, в начале августа был в Петербурге, а рождество проведу, вероятно, в Тифлисе, Баку или на границе с Персией» (оригинал по-немецки).

Между тем, в путешествии Кюхельбекера был один факт, до сих пор еще не выясненный. Во время его путешествия началась война Греции за независимость. На Кюхельбекера она произвела громадное впечатление. Он пишет в 1821—1822 гг. ряд «греческих стихотворений» («К Ахатесу», «Пророчество» и др.), в которых зовет на борьбу за Грецию и проклинает предательскую политику Англии, а уже в 1842 г. пишет III часть своей байронической мистерии «Ижорский», где герой погибает в Греции, подобно Байрону. (Одним из действующих лиц в ней является Каподистрия.) Здесь следует упомянуть, что любимым чтением его во время путешествия в 1821 г. был именно Байрон. В Ницце 25/13 марта он пишет в дневнике своего путешествия: «едва раскрыл своего Байрона» и т. д.

Мы знаем, что один из лицейских товарищей Кюхельбекера и Пушкина, Сильвер Броглио, уехавший вскоре по окончании лицея за границу, погиб в 1821 г. в борьбе за независимость Греции. И вот когда возник вопрос, по возвращении из путешествия, об определении Кюхельбекера (или, проще говоря, удалении его) в Грузию, на службу при Ермолове, Ал. Ив. Тургенев, хлопотавший за Кюхельбекера, писал 30 августа 1821 г.: «Мы устроили его дело. Государь знал все о нем: полагал его в Греции и согласился определить к Ермолову». Разумеется, Александр I превосходно все знал о Кюхельбекере. И, повидимому, суждение царя о намерении Кюхельбекера ехать в Грецию сражаться за вольность было основано на агентурных сведениях. Кюхельбекер вообще очень скудно запечатлевал подобные намерения, и мы более ничего об этом не знаем.

Роль Кюхельбекера, как посредника между русской литературой и, в первую очередь, ее молодым авангардом, с Пушкиным во главе, с одной стороны, и такими писателями Запада, как Гёте и Бенжамен Констан,—с другой, не должна быть забыта.

Менее доступная для изучения его роль передатчика живых впечатлений от встреч с Гёте—Грибоедову и от встреч с Бенжаменом Констаном—Рылееву также не подлежит сомнению.

Вообще впечатление, произведенное его путешествием, было большое. Он возбудил всеобщее внимание, любопытство, и это сопровождалось в литературе шумом, шутками, слухами (которые отчасти и передает позднейший рассказ Греча). Все это очень живо отразилось на портрете Кюхельбекера, который удалось теперь разыскать в альбоме, принадлежавшем А. Е. Измайлову. Этот прекрасный портрет нарисован, вероятно, литератором П. Л. Яковлевым, талантливым рисовальщиком, братом лицейского товарища Пушкина и Кюхельбекера, входившим в тесный литературный круг А. Е. Измайлова, которому он доводился племянником. Акварельный портрет шаржирован в манере модного тогда Дебюкура (Debucourt) и с первого взгляда похож на модную картинку. Громадного роста поэт одет по последней моде: длиннейший голубоватого цвета редингот, под ним черный камзол и желтый жилет, желтые рейтузы, ботфорты с кисточкой, белое жабо, черная трость, велюровый цилиндр с широкими полями. Само собою, все это характеризует только что вернувшегося путешественника и несколько его шаржирует: он как бы вернулся не только модным человеком, но и модником. Это облегчает и датировку портрета: он нарисован, несомненно, осенью 1821 г., в августе—сентябре, по приезде Кюхельбекера в Петербург и до прибытия на Кавказ (декабрь 1821 г.), когда представление о нем, как о «кавказце», тоже достаточно яркое, уже должно было вытеснить из общей памяти его «парижский» облик. Предположение это находит подтверждение и в том факте, что в первые же недели по возвращении в Петербург Кюхельбекер встречался с П. Л. Яковлевым,—21 августа Кюхельбекер записал в его альбом шуточную автохарактеристику²⁴.

Нарисован портрет в альбоме А. Е. Измайлова, председателя «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», членом которого Кюхельбекер был, и редактора журнала «Благонамеренный», в котором он печатался. Этот шарж—живой отклик интереса и толков о путешествии Кюхельбекера в петербургской литературе. Любопытна и подпись: «Г. Кугельбекер». Написана она (вероятно, тем же П. Яковлевым или, может быть, самим хозяином альбома, А. Е. Измайловым) с несомненной подделкой под характерный почерк самого Кюхельбекера. Соль шутки ясна. Мирный «хлебопекарь» (в шуточном переводе Ермолова, возможно, той же или, во всяком случае, немногим более поздней даты, что и подпись) превратился в воинствующего пекаря пуль и ядер (ср.: Kugelgieser—отливщик пуль, ядер). Слава о парижских выступлениях Кюхельбекера и о его высылке явно занимала художника и автора подписи.

Отметим ценность этого портрета и самого по себе—это единственный портрет поэта во весь рост и вообще одно из немногих его изображений.

Больше всех и лучше всех знали о путешествии Кюхельбекера двое: Пушкин и Грибоедов. Пушкин—от общего приятеля, В. Туманского, свидетеля жизни Кюхельбекера в Париже, спутника его возвратного путешествия, который сразу же после того поехал в Одессу, где жил Пушкин; Грибоедов же—от самого Кюхельбекера.

Несомненно, для чернового, первоначального наброска фигуры Ленского личность Кюхельбекера дала важные материалы, но, прибавим, именно Кюхельбекера времени путешествия; самое путешествие также вошло

в этот набросок, как грунт,—притом чертами, которые, может быть, ранее не были столь ясны Пушкину.

Крикун, мятежник и поэт
Он из Германии свободной
Привез учености плоды

(или: «Привез ученость и труды», ср. «Путешествия», на которые Кюхельбекер надеялся, как на основу своего литературного и материального положения). Ср. также черновые варианты:

Вольнолюбивые мечты
[Неосторожные мечты
Немного вольные мечты]
Дух пылкий прямо благородный
Несправедливость, угнетенье робость, клевета
И жажда мщенья
Любовь и месть кипели в нем
И к людям пылкая любовь
И к ближним пылкая любовь
Рождали в нем негодование ненависть и мщенье
Он лирой странствовал на свете
Под небом Шиллера и Гете
Их поэтическим огнем
Душа воспламенилась в нем
Все дочек прочили своих
За полу-русского соседа.

Вопрос о дружбе с Кюхельбекером, которую тогда временно осложнили литературные разногласия, волновал Пушкина. Недаром как раз в это время в письме к Кюхельбекеру Туманского с припискою Пушкина Туманский укоризненно цитирует XIII строфу II главы:

Так люди (первый каюсь я)
От делать нечего—друзья.

К тому же времени относится крайне любопытное прозвище, данное Кюхельбекеру Пушкиным: «Что журнал Анахарсиса-Клоца-Кю(хельбекера)?» (письмо Пушкина Вяземскому от 20.XII. 1823 г. из Одессы). И через полтора года, уже из Михайловского, он опять вспоминает Анахарсиса Клоца: «Надеюсь, что Дель(виг) и Бар(атынский) привезут мне и Анахарсиса Клоца, который верно сердится на меня, что мне не понутру р е з в о с к а ч у щ а я кровь Гриб(оедова)».

На этом замечательном прозвище стоит слегка остановиться. Прежде всего, естественно предположить, что оно возникло не сразу. Первый образ был, вероятно, просто А н а х а р с и с. Герой знаменитого «Путешествия» Бартеlemi, молодой скиф, путешествующий по Греции, дружащий с Солоном, приобщающийся к эллинской культуре, был у Пушкина общим образом русского путешественника по Западу. В 1830 г. он писал в послании «К вельможе», воображая встречи Юсупова с Дидро:

... И скромно ты внимал
За чашей медленной афею иль деиству,
Как любопытный скиф афинскому софисту.

В 1823 г. естественно было применить образ молодого скифа к Кюхельбекеру в Париже, хотя бы к его встречам с Бенжаменом Констаном, о которых, конечно, рассказывал Пушкину Туманский*.

А затем уже, ассоциативно, это имя, вероятно, вызвало имя Анахарсиса Клоотса,—и в этом имени, конечно, сгустились все рассказы Туманского о пребывании Кюхельбекера в Париже и о его выступлении в «Athénée Royal». Французский революционер, немец по происхождению, о котором Флобер составил законченное представление, как об историческом чуде и фантасте (см. письмо к г-же де Женетт от 1.III.1878 г.),—это не только шутовское прозвище Кюхельбекера, но и художественный образ.

С Грибоедовым Кюхельбекер встретился, как единомышленник,—между ними оказалось полное единство взглядов: тот же патриотизм, то же сознание мелочности лирической поэзии, не соответствующей великим задачам, наконец, интерес к драме. Кюхельбекер присутствует при самом создании «Горя от ума» (декабрь 1821 г.—май 1822 г.). Грибоедов читает ему в Тифлисе только-что написанные два акта комедии; позднее он присутствует в Москве (и деревне Бегичева) при завершительной работе над комедией.

Грибоедов становится другом и доверенным всех замыслов Кюхельбекера. Нет сомнений, что Кюхельбекер подробно рассказывал ему о путешествии, и не только о беседах с Гёте и Бенжаменом Констаном: Грибоедову были, вероятно, интересны и разговоры Кюхельбекера с ориенталистом Ланглесом, которого он хорошо знал по изданию «Путешествия» Шардена, с драматургом Жуи и рассказы об игре М-lle Марс, учительницы А. М. Колосовой, да и вообще обо всей театральной жизни Парижа, как и о западных музыкальных впечатлениях (дирижерство Спонтини, игра Мендельсона).

Личность Кюхельбекера, вернувшегося из чужих краев и никак не могущего устроиться на родине, сразу же остро столкнувшегося с обществом,—полувынужденный отъезд на Кавказ; столкновение и дуэль на Кавказе с одним из чиновников Ермолова; даже самая версия о безумии, «болезненных припадках», которая вошла в официальный акт об его отставке,—все это было ценными материалами при создании образа вернувшегося из чужих краев Чацкого и деталей «Горя от ума».

В московском свете Кюхельбекер, после Европы и Тифлиса, возбудил подлинный шум. Князь Сергей Голицын, близкий к генерал-губернатору Москвы, собирался хлопотать о нем; граф Вл. Гр. Орлов публично несколько раз выдавал его за близкого родственника; его свойственник Петр Львович Давыдов объявил себя другом Кюхельбекера. (В это время Кюхельбекер ходил пешком, не имея возможности нанимать извозчиков, и давал частные уроки.)

В «Горе от ума», в 21-м явлении третьего действия, Хлестова говорит с княгиней:

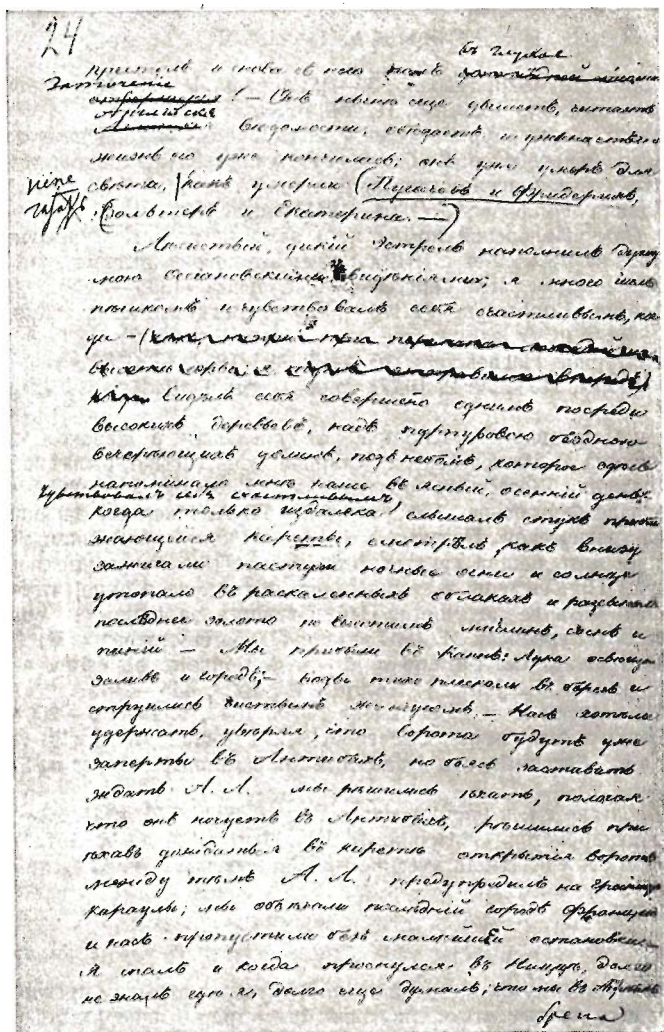
Хлестова

И впрямь с ума сойдешь от этих, от одних
От пансионов, школ, лицеев, как бишь их,
Да от ланкарточных взаимных обучений.

* Любопытно, что в заметке «О цензуре» 1833 г. он говорит о софизмах Констана.

Княгиня

Нет, в Петербурге институт
Пе-да-го-гический, так, кажется, зовут:
Там упражняются в расколах и в безверьи
Профессоры!..



СТРАНИЦА АВТОРИЗОВАННОЙ РУКОПИСИ
„ПУТЕШЕСТВИЯ“ КЮХЕЛЬБЕКЕРА, 1823 г.

Собрание Ю. Н. Тынянова, Ленинград

Здесь дан полный и точный список учебных заведений, в которых учился и преподавал Кюхельбекер: он окончил лицей, преподавал в Педагогическом институте, был воспитателем пансиона и состоял при этом секретарем Общества взаимных ланкастерских обучений.

Кюхельбекер с 1826 г. пробыл 10 лет в одиночном заключении в крепостях. Мир его отныне был скуден, но литературное творчество в крепостных стенах кипело, а память была остра. 7 апреля 1835 г. он вспомнил

о своем путешествии: «Я вздумал взглянуть на довольно плохую картинку в моем английском словарчике: вид Лондона с большого Темзского моста,—и задумался: я мечтою бродил по городам, которые и я когда-то видел при подобном освещении,—в моем воображении мелькали Петербург, Москва, Париж, Лион, Марсель, их виды, их мосты, их вечера—и моя минувшая жизнь».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «Невский Зритель», 1820, февраль, 35—45; апрель, 41—56. «Соревнователь Просвещения и Благотворения», 1820, № 31, 270—285.

² Это ученики по с.-петербургскому университетскому «благородному пансиону», в котором преподавал Кюхельбекер: Соболевский Сергей Александрович (1803—1870)—впоследствии известный эпиграмматист, библиограф, приятель А. С. Пушкина и Мериме; Глебов Михаил Николаевич (1804—1851)—декабрист, член Северного общества, содержался в Петропавловской крепости, а затем на каторге, в Нерчинских рудниках (1827—1832), на поселении с 1832 г.; умер от побоев (этапного унтер-офицера) и отравления; Пушкин Лев Сергеевич—брат поэта (1805—1852).

³ Героиня элегии «Euphrosyne» (1799)—рано умершая артистка веймарского театра Христина Нейман (в замужестве за актером Беккером).

⁴ См. «Литературное Наследство», № 4—6, М., 1932, 393.

⁵ «Русский Архив», 1871, № 2, 1077; Миша—сын В. К. Кюхельбекера Михаил (1840—1879).

⁶ Вельо—семья придворного банкира, проживавшая в Царском селе в лицейские годы Пушкина и Кюхельбекера. Старшая дочь, Софья, была любовницей Александра I. Младшая, Жозефина, воспитывалась у своего дяди, лицейского учителя музыки Теппера де Фергюсона. Ею увлекался П. А. Плетнев, дававший ей уроки. Смерть ее была трагической. Позднее, в 1846 г., Плетнев вспоминал: «Теппер поехал в Париж. Раз ее мать пошла гулять; Josephine забыла перчатки свои. Они жили в верхнем этаже. Прибежавши в комнату, она выглянула в окно, чтобы посмотреть, не ушла ли уже мать ее на улицу. Перевесившись за окно, она упала оттуда и тут же умерла...» («Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым», II, 693).

⁷ «Biographie nouvelle des contemporains ou dictionnaire historique etc.». Par M. M. A. V. Arnault, A. Say, E. Jouy, J. Norvins, P., 1823, 445—448.

⁸ «Biographie universelle et moderne». A Paris, 1842, t. 70, 189—200.

⁹ «Fr. v. Raumers historisches Taschenbuch», 3-r Jahrgang, Leipzig, 1832, 247—308.

¹⁰ W. D o r o w, Facsimile von Handschriften berühmter Männer u. Frauen, Berlin, 1836, 8—9.

¹¹ О М.-А. Жульене см. в настоящем издании I, 538—576, и II, 92—113.

¹² Восстание декабристов. Материалы, изд. Центрархива, V, 151.

¹³ В. Семевский, Политические и общественные идеи декабристов, СПб. 1905, 231.

¹⁴ I b i d., 156.

¹⁵ I b i d., 226.

¹⁶ I b i d., 180.

¹⁷ Путевые заметки ведутся в виде письма к друзьям; отрывку предшествует фраза: «целомудрие вашего друга»; отсюда в дальнейшем третье лицо вместо первого.

¹⁸ «Le «Musée» fondé en 1781, devenu ensuite le «Lycée», puis, après 1802, «L'Athénée» ou «Société Académique des Sciences et des Arts», donnait à l'usage du public mondain des cours et conférences fort goûtées. Les Sociétés savantes se réorganisaient, et la foule se poussait à leurs séances solennelles». Ernest L a v i s s e, Histoire de France contemporaine, III, 325.

¹⁹ «Etat descriptif des lieux actuellement occupés par le Lycée».

²⁰ «Almanach du Commerce de l'année 1822», par S. Bottin, 1822, 646. Пилатр де Розье (Jean-François Pilâtre de Rozier, 1756—1785)—математик, физик, химик, заведующий физическим кабинетом дофина, погиб при полете на воздушном шаре.

²¹ Переписка Пушкина, изд. Саитова, I, 28. Пушкин был в Киеве в январе-феврале 1821 г., а слышал о Кюхельбекере от В. Г. Глинки.

²² Д. К о б е к о, Имп. царскосельский лицей, СПб. 1914, 185—186.

²³ Остафьевский Архив, II, 201. Повидимому, здесь Тургенев говорит о каком-то печатном отчете о лекции Кюхельбекера, может быть, в каком-то парижском журнале.

²⁴ И. Медведева, П. Л. Яковлев и его альбом.—«Звенья», 1936, VI, 128.

II. ДЕКАБРИСТ И БАЛЬЗАК

Поэт Вильгельм Кюхельбекер, друг Пушкина, Грибоедова, Рылеева, был убежденным участником декабрьского восстания 1825 г. 14 декабря 1825 г. он действовал с оружием в руках на Сенатской площади. Единственному из всех северных декабристов ему удалось бежать, но он был настигнут в Варшаве и всю остальную жизнь затем провел в крепостях и ссылке: 10 лет в одиночных казематах Петропавловской, Шлиссельбургской, Динабургской, Ревельской и Свеаборгской крепостей и 10 лет в Сибири.

Все эти годы можно назвать годами борьбы за литературную деятельность. Он с редким упорством добивается в крепости присылки журналов и книг. Пушкину иногда удается прислать ему исторические книги. Лет через пять начинают проникать к нему журналы. В Свеаборгской крепости он ухитряется получать клубные книги. Он пытается всеми способами печататься, изобретает псевдонимы, пробует печататься анонимно. Неравная борьба ведет к жалким результатам: отдельные стихотворения иногда проникают в печать. В 1835 г. Пушкин ценою больших усилий и хлопот издает романтическую драму своего друга «Ижорский». Только в наши дни восстанавливается его литературный облик и печатается собрание его сочинений.

Кюхельбекер отличался редкой горячностью и самостоятельностью литературных мнений. Это было не только личной чертой, но и чертой эпохи, подвергшей критическому пересмотру все литературные авторитеты. Пушкин высоко ценил его, как критика. В крепости Кюхельбекер принужден был пользоваться случайной, главным образом журнальной, литературой. Он знакомится с новыми явлениями литературы из вторых рук. С иностранной литературой он вынужден знакомиться по переводам. Очень редко попадают к нему произведения иностранной литературы в оригинале, да и то в отрывках. (Так, например, племянник Борис Глинка прислал ему 4 ноября 1833 г. собственный перевод какого-то романа и для сличения и исправления—оригинал.) Но уменье не соглашаться и литературное чутье были у него таковы, что он ухитрялся выносить самостоятельные суждения даже на основании цитат в статьях. Главным тогдашним журналом, влиятельным источником сведений и суждений об иностранной литературе, была «Библиотека для Чтения», издававшаяся журнальным диктатором Сенковским—дерзким, талантливым и насмешливым литературным скептиком. Первое знакомство Кюхельбекера в Свеаборгской крепости с произведениями Гоголя было такое: 26 марта 1835 г. он прочел издательскую рецензию Сенковского на «Арабески» Гоголя с двумя цитатами из осмеиваемой книги. Кюхельбекер записал в свой дневник: «Отрывок, который приводит рецензент, вовсе не так дурен; он, напротив, возбудил во мне желание прочесть когда-нибудь эти «Арабески», которые написал, как видно по всему, человек мыслящий». Это был последний год крепостного заключения Кюхельбекера. В 1836 г., уже из Сибири, все еще не имея заинтересовавшей его книги, он пишет Пушкину о Гоголе: «Из выписок Сенковского, который, впрочем, его ругает, вижу, что он должен быть человеком с истинным дарованием. Пришли мне его комедию».

Так, знакомясь 17 февраля 1834 г. по рецензии с «Эрнани» Гюго, он ни в чем не соглашается с рецензентом и на основании цитат полемизирует с ним, догадываясь о значении трагедии и характерах действующих лиц.

Так, по переводу он судит о стиле Альфреда де Виньи.

14 мая 1834 г. он заносит в свой крепостной дневник: «Читаю отрывок из романа Альфреда де Виньи: Стелло; герой этого эпизода несчастный Андрей Шенье. Слог должен быть в подлиннике обворожительный».

В июне 1834 г. он читает рассуждение Менцеля о Шиллере и Гёте и сразу выступает в защиту тех явлений, которые опорочиваются Менцелем.

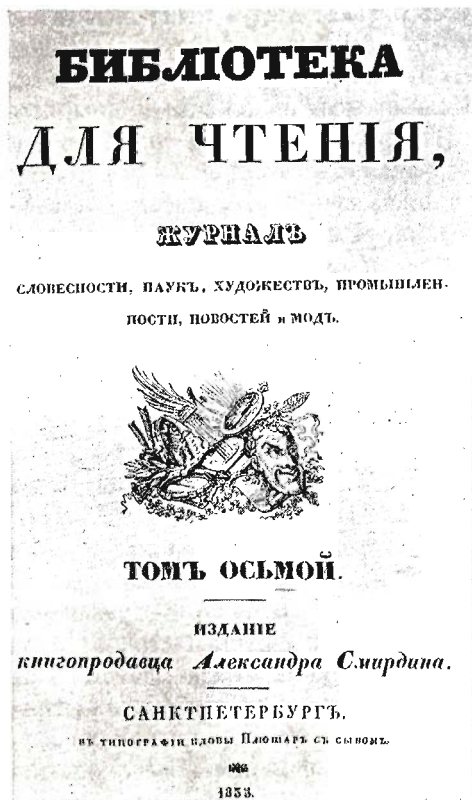
Менцелю, как защитнику «идеальной поэзии», Кюхельбекер дает бой с большой принципиальной высоты, разоблачая самое понятие «идеальной поэзии», которым оперирует тот в борьбе против Гёте и новой литературы: «Менцель приверженец идеальной поэзии и посему ее поднимает в гору; но всегда ли идеалистам позднейшим и главе их Шиллеру удавалось избежать того, что сам Менцель называет Харибдою идеалистов? Все ли действующие лица в Шиллеровых трагедиях истинные, живые люди? Нет ли между ними нравственных машин? Или, лучше, чего-то похожего на Гоцциевы маски, о которых наперед знаем, что они именно так, а не иначе будут говорить и действовать? Не всегда на первом плане, но во всякой трагедии Шиллера это Арлекин и Коломбина—совершенный, идеальный юноша и совершенная, идеальная дева; но в природе ли тот и другая? И так ли привлекательны в поэзии их повторения?—Без сомнения, что в них более прекрасного и даже истинного, чем в бесстрастных героях старинных немецких Haupt- und Staatsaktionen; но все-таки тут есть что-то напоминающее эти Haupt- und Staatsaktionen. Очень справедливо Менцель сравнивает Шиллера с Рафаэлем: оба они поэты красоты, поэты идеала. Но, как школа Рафаэля произвела длинный ряд художников совершенно бесхарактерных, так точно и Шиллерова может произвести их и не в одной Германии; уж и произвела некоторых.—Впрочем искренно признаюсь, что в статье, которую я когда-то тиснул в третьей части Мнемозины¹, говорю о Шиллере много лишнего: он, как жрец высокого и прекрасного, истинно заслуживает благоговения всякого, в ком способность чувствовать и постигать высокое и прекрасное не вовсе еще погасла.—Винюсь перед бессмертной его тенью; но смею сказать, что причины, побудившие меня говорить против него, были благородны. Сражался не столько с ним, сколько с пустым идолом, созданием их собственного воображения, которому готовы были поклоняться наши юноши, называя его Шиллером».

Верный соратник Грибоедова, Кюхельбекер защищает от Менцеля «фламандскую» школу поэзии: «Сильно нападает Менцель на натуралистов (которые, скажу мимоходом, могут быть и не сентименталистами, напр., Крabbе); но, несмотря на все им сказанное, я должен признать изящество многих произведений школы, которую называет он Фламандскою,—они не вырожда, а законные дети поэзии, ибо, что в этом роде более дурного и посредственного, нежели прекрасного, ничего не доказывает, потому что и в идеальном едва ли не то же». ...«Почему же поэзия, изображающая современные происшествия и нравы, непременно уже заслуживает все эти названия, которыми Менцель хочет унижить ее?».

Он блестяще защищает Гёте от нападок: «То, что в Гете должно непременно показаться противным, враждебным душе романтика идеалиста, естественного гражданина по мечтам и желаниям своим веков средних, не есть отсутствие вдохновения, а власть над ним и над самим собою, власть, которую Гете покоряет себе вдохновение, творит себе из вдохно-

вення орудие и предохраняет себя от рабствования порывам оногo.—Это свойство находим не у одного Гете: оно принадлежит и Шекспиру и едва ли не есть отличительный, неразлучный признак гениев... Смею думать, что многосторонность Гете, следствие его власти над вдохновением не есть недостаток, но высокое вдохновение».

Художественные, эстетические основы, высказанные им в этом споре, остаются неизменными. И что главное—он отчетливо сознает, что дело здесь идет о новой литературе, о будущем, и решительно берет под защиту новую французскую литературу, с которой он еще так мало знаком.



СТАРИКЪ ГОРИО.

НОВѢЙШЕЕ СОЧИНЕНІЕ БАЛЬЗАКА.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

All is true.
SHAKESPEARE.

Госпожа Вокэ дѣла уже сорокъ лѣтъ въ Парижѣ въ по-
вой улицѣ Св. Женевиѣ, между Латинскимъ кварталомъ
и предместьемъ Сентъ-Марсе, и всегда пускала къ себѣ жи-
дцевъ на хлѣбъ. Домъ ея стоялъ на нижнемъ концѣ улицы, въ
томъ мѣстѣ, гдѣ начинается спускъ, и спускъ такой крутой,
что по немъ рѣдко ѣздятъ: это чрезвычайно благопріят-
ствуетъ тишинѣ царствующей въ узкихъ, тесныхъ улицахъ,
сдвинутыхъ между куполомъ Валь-де-Грасъ и куполомъ
Наполеона. Тамъ мостовая суха; въ канавкахъ нѣтъ ни воды,
ни грязи; вдоль улицъ растутъ травы; человеку самому без-
печному такъ какъ-то неловко: прохаживае скучины; стужа ба-
рыты—происшествіе необычайное; дома печальны; отъ стужи
пахнетъ чорною. Тамъ только и есть гостиницы, да учеб-
ныя заведенія; бѣдность и скука; старость умирающая и
веселая юность, живущая вальсирти и принужденная рабо-
тать. Во всемъ Парижѣ нѣтъ квартала хуже, да и неизвѣст-
но этого. Улица Св. Женевиѣ похожа на медную раму,—
единственную раму приличную моему рассказу, къ которому
долженъ я приготовить читателей идеями печальными, по-
жизненными важными. Такъ именно свѣтъ ослабѣваетъ и
плѣне проводника дѣлается печальнее по мѣрѣ того, какъ

Повесть эта, въ которой прочтительно раскрыта тайна мо-
жно рыцарства, еще не я вѣдана по Французски. Мы сообще-
мъ те какъ повесть. Само собою разумется, что длинноты и повто-
ренія, которыми Г. Бальзакъ увеличиваетъ объемъ своихъ сочиненій,
устранимы въ изданіи.

Т. VIII. — Отд. II.

6

СТРАНИЦА ПЕРВОПЕЧАТНОГО ТЕКСТА РУССКОГО ПЕРЕВОДА ПОВЕСТИ „СТАРИК ГОРИО“
БАЛЬЗАКА, ЧИТАННОЙ КЮХЕЛЬБЕКЕРОМ В СВЕАБОРГСКОЙ КРЕПОСТИ

„Библиотека для Чтенія“, т. VIII за 1853 г.

«Развитием модернизма должны быть романы Альфреда де Виньи, Гюго и их последователей (напр., Notre Dame de Paris), если только сии ро-
маны действительно соответствуют понятию, какое я о них составил от-
части из отзывов Полевого. В бесстрастии модернизма вместе оправдание
его безжалостливости, за которую Менцель упрекает Гете, а дюжинные
французские критики Альфреда де Виньи и Гюго».

Так, еще будучи почти незнакомым с новою французскою литературой,
он берет ее под защиту. До сих пор попадался ему, главным образом,
Виньи.

В марте 1834 г. он читает о его романе «Сен-Март», знакомится с ним,
делает обширные выписки из его «Письма к Лорду» и т. д.

28 мая он пишет о заинтересовавшем его романе: «Слишком три года не читал я ничего французского: вот почему первые два десятка страниц романа, который теперь занимает меня, действовали на меня странным образом; мне было точно, как будто вижу и слушаю человека, с коим я бывал очень знаком, да раззнакомился».

В июле 1834 г. он впервые знакомится с Бальзаком, и первое знакомство слегка его разочаровывает.

2 июля 1834 г. он записывает: «Прочел я в С[ыне] О[тчества] повесть Бальзака: Р е к р у т; она занимательна и жива, но я ожидал чего-то особенного—и ошибся»².

5 июля он продолжает записи, пытаясь разгадать «дух нынешней Французской Словесности»: «Знакомлюсь хоть несколько с духом нынешней Французской Словесности. В некоторых из их сочинителей романов и повестей очень заметно направление Гофмановское, но по моему мнению—ни одна из читанных мною повестей (впрочем я их читал еще довольно мало) не стоит х о р о ш и х сказок Гофмана.—Развязка Р е к р у т а—после живого, вовсе не таинственного рассказа—как-то насильственна».

Он читает А. Ройе, Жакоба Библиофила. Сю производит на него впечатление: «...в другом роде—я сказал бы в байроновском—прелестное, и вместе естественно ужасное Андалузское предание Евгения Сю: Воротной конь и белый пес (Caballo negro у Perro blanco)».

12 июля у Кюхельбекера был дурной день: ровно восемь лет прошло с того дня, когда ему прочли приговор: он был приговорен к двадцатилетней каторге (срок был затем сокращен до пятнадцати лет). Он сидел в одиночном заключении и думал, что ему придется отбыть в нем весь срок своей каторги. В этот день он читал Бальзака: «Вот опять роковой день 12 июля; этот раз я почти его не заметил; более всего занимала меня мысль, что завтра можно мне будет уже сказать: до срока осталось менее 7-ми лет... В С[ыне] О[тчества] прочел я превосходный отрывок из Бальзакова романа: L a r e a u d e c h a g r i n!³. Этот отрывок несколько напоминает курьезную пляску стульев, вешалок и столов у Вашингтона Ирвинга; быть может, арабеск американца подал даже Бальзаку первую мысль,—но разница все же непомерная: у Ирвинга хохочешь, у Бальзака содрогаешься⁴. О Поле де Кока ни слова: отрывок из его Монфермельской молочницы довольно забавен, но в нем ничего нет нового». С острым чувством человека, который ждет завтрашнего дня, чтобы сказать себе, что осталось на один день меньше семи лет одиночного заключения, он читает роман, как профессионал и настоящий знаток: по отрывку из Поль де Кока заключает о его незначительности, высоко оценивает отрывок Бальзака и строит интересную историко-литературную гипотезу об источнике эпизода «Шагреновой кожи».

В особенности, должны были здесь заинтересовать и приттись по вкусу Кюхельбекеру страницы, посвященные Кювье. Кюхельбекер не только лично слышал речь Кювье во Французской академии в 1821 г., но и не переставал высоко его ценить и интересоваться им. Было одно качество у Кюхельбекера, которое должно было, в особенности, сделать его внимательным и расположенным читателем Бальзака: разносторонность интересов. В его крепостных дневниках, представляющих отчеты о чтении, попадаются отчеты и размышления по вопросам истории, философии, естественных наук. В особенности, большое впечатление на него производят открытия Кювье. Так, 12 марта 1834 г. он записывает о Кювье

строки, прямо перекликающиеся со страницами Бальзака о Кювье в отрывке, прочтенном им несколькими месяцами позднее: «С удовольствием перечел я разбор Абеля Ремюза творения Кювье: голова кружится, когда соображаешь все открытия великого геолога Кювье!».

Уже 17 июля он записывает о Бальзаке слова, показывающие, что новые впечатления прочны: «Бальзак человек с огромным дарованием; отрывок из его повести *С а р р а з и н*, в Сыне Отечества под заглавием *Д в а п о р т р е т а*—удивителен!»⁵.

Наконец, 25 июля он читает «Фирмиани» и начинает относиться к нему с восторгом: «Пишу о Бальзаке, потому что после его прелестной повести: *Г-жа Ф и р м и а н и*⁶, не могу тотчас заняться чем-нибудь другим.—Это в своем роде *chef-d'œuvre*; тут все: и таинственность, и заманчивость, и юмор, и высокая, умилительная истина; я влюблен в эту Фирмиани!—Как бы я желал своему Николаю встретить в жизни подобную женщину!—И как хорош сам Бальзак! Что за разнообразный, прекрасный талант! Признаюсь, я бы желал узнать его покороче».

Здесь замечательна живость восприятия образов Бальзака: искушенный в литературе, опытный и широко образованный писатель положительно относится к ним, как живым людям. Это, разумеется,—факт, характерный не только для читателя, но характерный, прежде всего, для Бальзака. Николай, которому узник желает встретить женщину, похожую на госпожу Фирмиани,—любимый племянник и ученик его, Николай Григорьевич Глинка (1811—1839). Кюхельбекер видел в нем большие дарования. Письма его к Николаю Глинке из крепости особенно замечательны: дядя пламенно критикует в них новейший «байронизм», модную разочарованность молодого поколения, которою увлекся племянник. Надежды, возлагаемые Кюхельбекером на Николая Глинку, не сбылись: он погиб от ран, сражаясь на Кавказе в 1839 г.

Чтение Бальзака, которого печатает из номера в номер журнал «Сын Отечества», попадающего, хотя с опозданием, в руки Кюхельбекера, продолжается. 26 июля он читает «Путешествие из Парижа в Яву»⁷, помещенное в том же томе, что и «Госпожа Фирмиани», и записывает: «Мое уважение к Бальзаку очень велико; он чуть ли не выше и Гюго и де Виньи».

Он, впрочем, как и всегда, в своей критической и литературной деятельности относится к любимому автору строго. 31 июля он записывает в свой дневник: «*Р о с т о в щ и к* *К о р н е л и у с* Бальзака⁸, по моему мнению, из слабейших его произведений. Конечно, и тут есть прекрасные подробности; но заметно несколько подражание и Гюго и Скотту,—а сверх того заметно, что род Гюго и Скотта не свойствен Бальзаку».

Бальзак становится не только его любимым чтением, но и предметом настойчивых мыслей. 1 августа запись: «После обеда прочел в Сыне Отечества повесть *К р а с н ы й Т р а к т и р*⁹; рассказ хорош, но окончание, как во всех почти новейших французских повестях, не удовлетворительно». Но этот отзыв его самого не удовлетворяет—он слишком общ, а отношение его к Бальзаку слишком для этого отзыва горячо, и на завтра он записывает: «Не забыть: *К р а с н ы й Т р а к т и р*, сочинение Бальзака».

В это время у Кюхельбекера, получившего исторические книги от Пушкина, начинается творчество: он начинает (и вскоре бросает) трагедию о Дмитрие-Самозванце, начинает переводить «Венецианского купца» (так-

же не кончает), и, наконец, в один присест, в 52 дня, пишет свою лучшую вещь—большую историческую трагедию в стихах о вожде первого земского ополчения в борьбе с польской интервенцией XVII в.: «Прокофий Ляпунов». (Все попытки доставить трагедию друзьям для напечатания оказались тщетными; трагедия эта вышла в свет только в наши дни.)

Но и всецело захваченный работой над трагедией, он иногда отрывается и продолжает чтение. Как раз в это время начинается поход против «безнравственности» новой французской литературы со стороны Менцеля в Германии, журнальных критиков «*Edinburgh Review*», «*Quarterly Review*»—в Англии.

В первом томе «Библиотеки для Чтения» за 1834 г. Кюхельбекер находит «мнение известного английского журнала *Edinburgh Review* о нынешней французской словесности с широковещательным примечанием о том, что она переведена в немецких и французских журналах, а как доказательство истинности статьи, приводится мнение французских журналистов, солидаризирующихся с английской критикой. Основное положение английского критика: „Два могущественных потока борются теперь один с другим: материализм 1760 года и нравственный спиритуализм, подавленный столь долгое время и старающийся ныне завоевать прежнюю власть“»¹⁰. «Июльская революция дала им [французским современным писателям] гибельное для славы их направление»¹¹.

В статье—выпады против Гюго, Дюма, Жанена, Бальзака. В одном из примечаний редакция дополняет их выпадом против Ж. Санд: «Что бы сказал сочинитель этой статьи, если б еще знал Л е л и ю, последний роман г-жи Дюдеван, скрывающейся под кровавым именем Занда?»¹².

Приводим один из выпадов против Бальзака: «В какое другое время г. Бальзак, писатель с талантом и воображением, решился бы бросить в глаза публике, имеющей притязание на изящность и знание общественных приличий, творение, написанное дремучим слогом и исполненное всякого рода непристойностей (*Contes drôlatiques*)?». Статья нападает также на «Философические повести» и на «*Peau de chagrin*» (в переводе названной «Ослиной кожей»).

21 октября Кюхельбекер записывает в дневник: «Прочел я в Библиотеке очень и, как мне кажется,—слишком строгий приговор Эдинбургской *Review* новейшим французским писателям. Конечно, я их слишком мало знаю, знаю почти только по отрывкам, но не все же у них совершенно безнравственно: повесть Бальзака *Madame Firmiani* имеет не одно литературное, но и нравственное высокое достоинство».

Трагедия пишется молниеносно: 24 октября кончено 2-е действие, 25 октября начато третье. Но тогда же, 25 октября, Кюхельбекер прочел все в той же «Библиотеке для Чтения» статью ее редактора, Сенковского; Сенковский примкнул к немецким и английским порицателям молодой французской литературы за ее безнравственность. (Любопытна запись о Сенковском Кюхельбекера, что он—«западный писатель».)

Нужно отметить, что рьяными и лицемерными охранителями «нравственности» с большим шумом выступали в литературе Булгарин—бывалый и на все готовый журналист, служивший агентом политического сыска, и Сенковский—остроумный, беспощадный и талантливый циник, искушенный в журнальных интригах.

«Нравственность» была, разумеется, сильным средством борьбы с нарождающимся реализмом, сильною «маскировкой». Это прекрасно по-

нимал Гейне, ведущий яростную борьбу с Менцелем. Это прекрасно понимал Белинский, в статье «Менцель, критик Гёте» давший уничтожающую характеристику Менцеля (а заодно и Сенковского).

Кюхельбекер был разоружен физически на Сенатской площади 14 декабря, в крепости он был разоружен литературно; ему пришлось столкнуться с противниками, вооруженными всею современною литературою, которую он знал по журнальным отрывкам и враждебным, по большей части, обзорам. Иногда он робеет, но не сдается. Завязывается удивительная литературная борьба в одиночном заключении.

Он пишет 25 октября 1834 г.:

«Читал я сегодня... в Библиотеке—статью: Брамбеус и Юная Словесность. О юной словесности, может быть, судит Брамбеус в о о б щ е довольно справедливо;—но напрасно, кажется, допускает так мало исключений. В самом Бальзаке найдутся повести самой чистой, высокой нравственности, напр., *Madame Firmiani*.—Впрочем—цель поэзии не нравоучение, а сама поэзия: вот, что, повидимому, строгие осудители нынешней поэзии или, если угодно, словесности совершенно забывают. — Однако, я слишком худо знаю нынешнюю школу и потому воздерживаюсь от решительного суждения о ней и о толках о ней».

Кюхельбекер смущен, робеет—и недаром: нападение на новую французскую литературу в статье, прочитанной им,—открытое и сильное. Враждебный к этой литературе Сенковский чувствует силу и происхождение нарождающегося реализма: «...Новая парижская школа не ограничилась простым изменением теории: она пожелала произвести в Словесности нечто вроде революции 1789 года, с настоящею свирепостью и безумством покойного Конвента. Она решилась разрушить несомненные и единственные основания изящного потому только, что их признавал классицизм, и, в общем ниспровержении прежнего эстетического порядка, уничтожить нравственность, как революция уничтожала христианскую веру... Тут не должно обманывать себя напрасно: «Юная Словесность», совершенно отторгнувшись от логических начал чистого романтизма, не есть литературная школа: это прямая вторая Французская революция в священной ограде нравственности, затеянная со всей легкомысленностью и производимая со всем неистовством и остервенением, свойственным народу, который произвел и обожал Марата, Робеспьера, Сен-Жюста»¹³. С большой последовательностью он производит начало школы от Руссо и Дидро, повторяя общее мнение европейской критики и предупреждая гейневскую пародическую формулу:

An allem ist schuld Jean Jacques Rousseau,
Voltaire und die Guillotine.

«Начало школы. Начало всего от Жан-Жака Руссо. Вас это удивляет?

Ну, так начало от Дидерота! Избирайте из них кого угодно, но дело в том, что новая школа есть истечение, развитие замечательного обстоятельства, в котором оба они участвовали и которое приложило печать свою в конце Словесности прошлого столетия, дописывавшей последние свои строки в день начатия Французской революции»¹⁴. «Секрет школы»—в том же Руссо: «Его предисловие к *Новой Элоизе* есть первый очерк и разительный очерк школы, которая долженствовала через пятьдесят лет родиться из его духа и тела».

В статье с фельетонным блеском наглядно нарисованы «беспорядок в нравственном хозяйстве» и разрушение семьи, порождаемые новою литературою. Кончается она так: «Мы живем в век раздражительности и смуты. Все основания потрясены продолжительною бурей умов, которой громы, уже по рассеянии тучи, еще от времени до времени раздаются над Европейским обществом и производят пожары. Если Словесность на что-либо нужна обществу, то первая ее обязанность, в настоящем его положении, скреплять всеми мерами общественные и семейные узы, успокаивать умы, ...не помогать политическому бреду в преступном намерении расторгнуть все звенья цепи, уже прерванной во многих местах».

Открытое, откровенное нападение устанавливало связь новой литературы с Французской революцией и обнажало политические мотивы борьбы с нею.

Литературные атаки на «юную французскую словесность» продолжают. Кюхельбекер поражен дружными атаками немецких, английских журналистов, Сенковского, но оказывает сопротивление. 22 ноября он записывает в свой крепостной дневник: «Прочел я сегодня примечательного: о с о с т о я н и и ф р а н ц у з с к о й д р а м ы из Qua(r)terley Review и разбор новой трагедии Александра Дюма, Е к а т е р и н а Г о в а р д. Qua(r)terley Review судит о юной словесности столь же сурово, как Эдинбургское обозрение: должно же быть, что эти строгие приговоры не вовсе без основания; однако, признаюсь, я бы желал судить о странных феноменах французской словесности по собственному чтению, а не по наслышке.—По крайней мере в таланте корифеям молодых французских писателей невозможно отказать: в трагедии Дюма, как видно даже из разбора,—есть положения, которые могут быть изобретены только гениальным человеком».

Наконец, в его руки попадает долгожданное произведение, по которому можно судить и о значении Бальзака и о направлении «юной французской словесности»,—«Отец Горио».

Сенковский был очень ловкий журналист: «Старик Горио» (заглавие перевода) появился у него раньше французского издания—перевод был сделан с журнального текста «Revue de Paris»¹⁵. Но в каком виде и с какими примечаниями!

Журнал варварски расправился с романом. Уже к первой части сделано было красноречивое примечание: «Повесть эта, в которой примечательно раскрылся талант модного романиста, еще не вся издана по-французски: мы сообщаем ее как новость. Само собой разумеется, что длинноты и повторения, которыми г. Бальзак увеличивает объем своих сочинений, устранены в переводе»¹⁶. Редакция исполнила свои обещания. При печатании 2-й части в следующей книге журнала¹⁷ Сенковский, ярый враг «юной французской словесности», распоясался. В громадном примечании он писал, между прочим: «Хотя этот роман, сокращенный через очищение его от общих мест и длиннот, и весьма переделан в переводе, в котором большею частью старались мы выражать не то, что говорит автор, но то, что он должен был бы говорить, если б чувствовал и рассуждал правильно; хотя мы гораздо более уважаем здравый смысл наших читателей и его удовольствие, нежели неприкосновенность плодов пера, одаренного талантом, но поверхностного и слишком легкомысленного; хотя и направление и даже ход повести изменены здесь существенно, однако мы сохранили часть этой сцены в подлинном ее виде, нарочно для обожателей ума г. Баль-

зака». Таким образом, Кюхельбекер мог прочесть в неискаженном виде сцену прощанья Растиньяка с виконтессой Босеан.

«...Как скоро удастся ему осуществить эту чудесную мысль... и вывести на сцену супругу порочную, но твердую любовницу,—он без памяти от удивления ее характеру; он становится перед ней на колени, и,—скоро увидите,—он еще поставит перед ней на колени и своего героя Растиньяка. Это великая женщина г. Бальзака»,—пишет в примечании редактор.

Это беспримерное примечание, как и другое, нападающее на философию Бальзака, обнаруживало слабость неистовых антибальзаковцев, черпавших материалы у Менцеля и британских журналов: борьба с Бальзаком переходила в борьбу с его героями, что лишний раз подчеркивало их



ДОМ КЮХЕЛЬБЕКЕРА В БАРГУЗИНЕ, ГДЕ ОН ЖИЛ С 1836 ПО 1839 ГГ.
Фотография 1900-х гг.

Собрание Ю. Н. Тынянова, Ленинград

жизненность,—такова забавная полемика с виконтессой Босеан в примечании; и, наконец, журнал, вынужденный помещать Бальзака из-за требований читателя, переходит к прямой полемике именно с ним, с подписчиком и читателем, обнаруживая многочисленность «обожателей Бальзака». Далее следует полемика против Бальзака, как «защитника безнравственности»: «Одна из основных идей этого романиста, проявляющаяся почти во всех его творениях, состоит в том, что женщина тогда только бывает истинно велика, когда она обманывает своего мужа, гордо попирает свои обязанности и смело предается пороку».

Лучше всего характеризует редакторское отношение к помещаемому роману конец его, присочиненный самим редактором.

Бальзак кончает фразой о Растиньяке: «Затем, в виде первого вызова обществу, он пошел обедать к госпоже де Нюсинжен».

Сенковский поспешил сделать Растиньяка злодеем и пошляком: «Он

пошел в Париж: дорогой он еще колебался, направлять ли шаги свои к красивому жилищу в улице Артуа, или к прежней грязной квартире у мадам Воке,—и очутился у дверей дома г-на Тальфера. Тень Вотрена привела его к этому дому и положила руку его на затылок. Он зажмурил глаза, чтоб ее [не] видеть. Он искал еще в своем сердце и в своей нищете честного предлога. Викторина так нежно любила своего отца!..

Растиньяк спросил госпожу Кутюр. Теперь он миллионщик и горд, как барон».

Однако, все эти меры предосторожности и, в особенности, развязные примечания произвели на читателя из Свеабургской крепости обратное впечатление.

8 марта 1835 г. Кюхельбекер начинает читать, не обратив внимания на первое задорное редакторское примечание. Начало повести его слегка разочаровывает: «Начало повести Бальзака Ст а р и к Г о р и о очень заманчиво,—но я встречал даже в наших журналах отрывки и целые создания Бальзака же, в которых было более Поэзии, более воображения, теплоты и пылкости».

Кюхельбекер знал Сенковского лично и признавал за ним литературный талант. Но он знал также ложность его направления и, что сильнее всего,—смешную сторону этого направления. Он тотчас узнавал Сенковского под всеми псевдонимами. 18 марта он записал: «С наслаждением прочел я отрывок из воспоминаний о Сирии Морозова (Сенковский, Брамбеус и Морозов непременно одно и то же лицо); название этому отрывку: З а т м е н и е С о л н ц а. Тут все хорошо,—кроме следующей ереси: «душа поистине столько же облагораживается на вершинах земли, сколько на первых высотах общества».—Охота профессору Сенковскому быть маркизом! Что за первые высоты общества?—Не читал же профессор Онегина—иное дело, если он на высотах общества полагает людей не самых светских, а самых умных и добродетельных: это соль земли и между ними подлинно чувствуешь себя благороднее и лучше. Только точно ли люди самые умные и добродетельные в тех кругах, которые в обыкновенном разговоре называются высотами общества?¹⁸.—Как вы об этом думаете, господин профессор?».

Кюхельбекер, прекрасно уловивший комизм положения профессора, стремившегося быть аристократом, столь же ясно понимал характер и истинные причины вражды Сенковского к новой французской литературе. 26 марта он прочел окончание «Старика Горио» со всем сокрушительным аппаратом примечаний Сенковского. Примечания вызвали его возмущение и резкую полемику, а повесть, как всегда бывало с этим читателем Бальзака, пробудила в нем личные воспоминания.

«После обеда прочел окончание повести Бальзака: С т а р и к Г о р и о, и внутренне бесился на бессмысленные примечания г-на переводчика; но они более чем бессмысленны, они кривы и злонамеренны.—Супружеская верность и чистота нравов мне важны не менее, чем ему, драгоценны и святы; но лицемерие и ханжество мне несносны; художественное создание не есть феорема эфики, а изображение света и людей и природы в таком виде, как они есть.—Порок гнусен,—но и в порочной душе бывает нередко энергия; а эта энергия (и в самых заблуждениях) никогда не перестанет быть прекрасным и поэтическим явлением. Бальзакова виконтесса, несмотря на свои заблуждения и длинную ноту Библиотеки—все-таки необыкновенная, величаявая (*grandiosa*) женщина; и если г. переводчик

этого не чувствует, я о нем жалею.—Вотрен мне напомнил человека, которого я знал,

«Когда легковерен и молод я был»¹⁹.

Разница только, что мой Вотрен скорее был чем-то вроде Видока, нежели Жака Колена».

Так в этой литературной борьбе побежденными оказались журнал и его редактор, слишком ясно обнаруживший подоплеку своих нападений на молодую французскую литературу и, в частности, на Бальзака. Упреки в безнравственности Кюхельбекер отчетливо понял, как лицемерие и ханжество. И, наконец, этот спор помог ему формулировать с большой ясностью принципы реализма, против которых и велась на деле борьба: «художественное создание не есть теорема этики, а изображение света, людей и природы в таком виде, как они есть».

Как влиял Бальзак на своего заключенного читателя, какие глубокие вопросы и воспоминания не только эстетического, но и личного порядка он возбуждал в нем, видно из упоминания о его «собственном Вотрене». Дело в том, что положение Растиньяка было глубоко типично и для группы русской дворянской молодежи: непрестанная нужда и поиски занятий по выходе из лицея, самоотверженная мать и сестры, помогающие брату, невозможность добиться сколько-нибудь обеспеченного положения (отсрочившая брак с любимой девушкой до самой гражданской смерти, когда он стал более невозможен),—таковы черты молодости Кюхельбекера, которые сделали возможным минутное сближение с Растиньяком и воспоминание о «своем Вотрене». Чтение Бальзака, таким образом, является причиной возникновения любопытного вопроса в биографии поэта-декабриста: кто же таков этот Вотрен, да еще с примесью Видока? С полной уверенностью ответить нельзя, но есть человек, с которым встречался Кюхельбекер, привлекающий с этой точки зрения внимание. В день 14 декабря Кюхельбекер раскланялся на Сенатской площади с человеком под пудрою, в шляпе с плюмажем. При допросе он показал, что это Горский, которого он знал еще с 1821 г. на Кавказе.

В архиве III отделения есть характеристика этого Горского: «Сей человек нрава угрюмого, несообщительного, дерзкий в поступках, оставался всегда загадкою даже для людей весьма к нему близких. Никто не знает даже о его происхождении. Сперва он объявил себя графом (по-польски г р а б я, hrabia), посредством злоупотреблений белорусского помещика Янчевского, который, попав пронырством в маршалы, промышлял выдачею свидетельств дворянства из Депутатского собрания. После того Горский производил себя из Горских-князей и хлопотал о сем в Сенате. Общий слух носится, что он сын мещанина из местечка Бялынич в Белоруссии, но верного ничего нет. Он всю жизнь был пронырой и, наделав много зла на Кавказе, где был вице-губернатором, бежал оттуда. Он женат, но не живет с женою. Сперва он содержал несколько (именно трех) крестьянок, купленных им в Подольской губернии. С этим сералем он года три тому назад жил в доме Варварина. Гнусный разврат и дурное обхождение заставило несчастных девок бежать от него и искать защиты у правительства, но дело замяли у графа Милорадовича. После того появилась у него девица под именем дочери; ...говорят, что будто бы Горский жил с нею и будто она и брат ее суть дети брата Горского. Но верного узнать невозможно, потому что никто не смел ни о чем спрашивать

Горского, зная, что он все лжет, а о месте пребывания его фамилии никто не знает, ибо иногда он называется литвином, иногда подольянином, иногда белорусцем, а иногда великороссиянином. В деньгах он никогда не нуждался, никогда не занимал, напротив того—жил пристойно, и все уверяют, что будто у него большие деньги в ломбарде, нажитые разными пронырствами и злоупотреблениями. Горский был домашним другом статс-секретаря Марченки, и он с женою весьма о нем хлопотали... Горский был в свете таинственное существо, без роду и племени, человек неизвестно откуда»...²⁰.

«По формулярному официальному списку значится: грабя Осип-Юлиан-Викентьев сын Горский, в 1821 г.—49 лет; происхождением из дворян польских, грабя или граф»; уже в 1827 г. Горский именовал себя «князем Иосифом Викентьевым Друцким-Горским, графом на Мыше и Преславле». Сослан в 1827 г. в Березов, где прожил 5½ лет, затем переведен в Тару, оттуда в Омск и здесь же умер 7.VII. 1849 г.²¹.

Разумеется, о близких отношениях между Кюхельбекером и этим человеком говорить мы не имеем оснований, но факт длительного знакомства установлен, а более явных черт Вотрена не подыскать. Черты Видока засвидетельствованы позднее—в Сибири он занимался сыском среди сосланных декабристов, доносами и провокациями²².

Прочитав хотя искаженного и опустошенного переводом «Старика Горио», Кюхельбекер отлично понимает сущность нападков Сенковского, перечитывает его красноречивую статью и дает ему окончательный отпор; 3 апреля он записывает в крепостной дневник: «Брамбеус!»²³. Перечел его Диатрибу: Б р а м б е у с и Ю н а я С л о в е с н о с т ь!—Какие у него понятия о словесности—«Стихотворения, т. е. поэмы в стихах—и поэмы в прозе, т. е. романы, повести, рассказы, всякого рода сатирические и описательные творения, назначенные к мимолетному услаждению образованного человека—вот область Словесности и настоящие границы».—С чем имею честь поздравить господина Брамбеуса! Я бы лучше согласился быть сапожником, чем трудиться в этих границах и для этой цели. Светский разговор у него прототип слога изящного; а публика состоит из жалких существ, которые ни рыба, ни мясо, ни мужчины, ни женщины.—«Увы!»—воскликает Брамбеус в конце своего разглагольствия,—кто из нас не знает, что в числе наших нравственных истин есть много оптических обманов!»—После этого: «увы!»—подобных понятий о словесности, слоге и публике—считаю дозволенным несколько сомневаться в искренности тяжких нападков, которыми обременяет Брамбеус новых французских романистов и драматургов,—искренно сказать,—мне кажется, что он просто на них клевет или не понимает их».

Так безоружный, лишенный книг декабрист побеждает модного и влиятельного журналиста.

Более того, случай со «Стариком Горио» научил его обороняться: в тот же день, что и о Горио, он записывает в свой дневник об «Арабесках» Гоголя,—по издательской рецензии и приведенным в ней выпискам он чувствует замечательного писателя. Он не только не доверяет теперь чужим мнениям, но научился на их основе строить свое собственное, самостоятельное.

В конце года Кюхельбекер вышел из крепости для того, чтобы прожить до конца жизни ссыльным в глухих сибирских городках.

Бальзака он более не получает, и только раз, в 1840 г., ему попадаетесь запоздалый перевод старой бальзаковской повести, под названием «Страсть художника, или человек не человек»²⁴.

Тут у него происходит письменная стычка с Бальзаком, как когда-то в молодости происходили литературные стычки с друзьями. 28 мая он кратко и очень резко отзывается о прочтенной повести, как о вздоре. Однако, позиция Кюхельбекера в вопросе о молодой французской литературе не меняется. 20 июня 1841 г. он с огорчением констатирует, на основании какой-то переводной рецензии: «У французских литературных фешьюнеблей, кажется, введено подтрунивать над Ал. Дюма и даже Виктором Н и г о, как у нас Отеч[ественные] Зап[иски] трунят над Марлинским и его последователями». В этом выпаде против «литературных фешьюнеблей» — не только отчетливость демократической позиции декабриста, но и литературное чутье, которое не могут заглушить ни крепость, ни Сибирь.

Долгое время Кюхельбекер не может следить за дальнейшим ростом Бальзака, и у него возникает представление об однообразности Бальзака. Такова запись о нем в дневнике от 28 июня 1841 г.:

«Итак перечитываю порою временем старые дневники: встречаю в них отметки о таких сочинениях, которые вовсе изгладились из моей памяти. На счет некоторых писателей я свое мнение переменяю: к этим в особенности принадлежит Бальзак. Т е п е р ь нахожу его довольно однообразным, хотя и теперь считаю его человеком очень даровитым».

Мнимое однообразие Бальзака, повести которого с трудом доходили до глухих урочищ Сибири, было ложным представлением, навязанным декабристу самой жизнью. Но даже и теперь он продолжает думать о нем, считать его «человеком очень даровитым».

Между тем, давнее желание его исполнилось: он получил личную весть о Бальзаке, которого хотел «узнать покороче». Но какую весть!

В 1843 г. Бальзак посетил Россию, и его повстречала в Павловске молоденькая племянница Кюхельбекера, Наталья Григорьевна Глинка, дочь его старшей сестры, Юстины Карловны Глинки. Он нежно любил свою сестру и ее семью и переписывался из крепости со всеми племянниками и маленькими племянницами. Он даже надумал обучать их заочно грамоте и докучал исправлениями ошибок в их письмах. Он руководил из крепости их чтением и развитием. Они платили ему аккуратными письмами, вязали для него носки и т. п.

Но как бы Кюхельбекер нежно ни любил сестру, в молодости заботившуюся о нем, он однажды должен был признать: «Конечно, у ней чувства много, но ум робкий». Племянница была всецело во власти представлений, навязанных испуганным обывателям журналистами, и эти представления отразились даже на впечатлении, произведенном на нее самою наружностью Бальзака.

Наталья Григорьевна Глинка пишет дяде в Сибирь 12 августа 1843 г.: «На днях видели мы в Воксале Бальзака, который приехал в Россию на несколько месяцев; нет, не можите себе представить, что это за г н у с т н а я ф и з и о н о м и а; матушка нашла, и я совершенно с нею согласна, что он похож на портреты и описания, которые читаем о Робеспierre, Дантоне и прочих подобных им особ, французской революции: он малого росту, толст, лицо у него свежее, румяное, глаза умные, но все выражение лица его имеет что-то зверское». Дядя так и не научил племян-

ницу грамоте: ее письмо пестрит ошибками. Племянница и не подозревала, как полемизировал дядя с Брамбеусом, со слов которого, видимо, и мать и она судили о французском писателе. Не подозревала, что в эти годы он писал и о том самом Дантоне, который для нее являлся делом ужаса:

...Дантон

Рукой гиганта, гением титана

Попятил пруссаков—свободен край родной.

В 1843 г. Кюхельбекер получил возможность в культурной семье Разгильдеева, начальника крепости Акша, где жил Кюхельбекер, ознакомиться с Бальзаком в оригинале. Он пишет 8 декабря 1843 г. племяннице, Н. Г. Глинке: «Я ей [Наталье Алексеевне Разгильдеевой.—Ю. Т.] прямо по русски с французского оригинала прочел все почти повести Бальзака: тут у меня начинался иногда небольшой спор с Анной, которую нередко непременно должно было заставить удалиться, чтобы не дать ей познакомиться с грязными нравами, изображаемыми Г-н Бальзаком».

Анна—ученица Кюхельбекера, который был рьяным и строгим педагогом. В «спорах с Анной» слышится, прежде всего, педагог. Но в последней фразе слышна и литературная досада, подобная отзыву о «Страсти художника». Тем не менее, важно то обстоятельство, что он переводит «все почти повести Бальзака», что они являются его постоянным чтением рядом с сочинениями Лермонтова, Пушкина, его собственными. Он продолжает интересоваться Бальзаком.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ Кюхельбекер издавал в 1824—1825 г. альманах-журнал «Мнемозина». Во II части он поместил свою известную статью «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие», вызвавшую бурную полемику. Здесь говорится о полемическом ответе Булгарину в III части «Мнемозины».

² «Рекрут». Повесть Бальзака.—«Сын Отечества и Северный Архив», СПб. 1832, т. 30, 121—150; подпись переводчика: «О»—по всей вероятности, Орест Сомов. Это перевод повести «Le Requisitionnaire», написанной в феврале 1831 г. и вошедшей в «Romans et contes philosophiques», 1832.

³ Отрывок из романа Бальзака «La peau de chagrin».—«Сын Отечества и Северный Архив», 1832, т. 27, 173—194; главы IV и V, содержащие описание лавки продавца редкостей.

⁴ Кюхельбекер здесь имеет в виду эпизод с пляской мебели в рассказе Вашингтона-Ирвинга «Tales of a traveller», I, 5: «The bold dragoon or the adventure of my grandfather», 1821.

⁵ «Два портрета».—«Сын Отечества и Северный Архив», 1832, т. 28, 321—348. В примечании указано: «Это первая глава Бальзаковой повести «Саррацин», помещенной в его «Romans et contes philosophiques». Перевод О. Сомова».

⁶ «Госпожа Фирмиани». Повесть Бальзака.—«Сын Отечества и Северный Архив», СПб. 1833, т. 33, 3—35; переводчик: «О»—повидимому, О. Сомов. В «Revue de Paris», 1832, февраль.

⁷ «Путешествие из Парижа в Яву, по методе, изложенной Г-м К. Нодье в его истории Богемского короля и семи замков его, в главе, имеющей предметом разные способы перевозок у древних и новых народов».—«Сын Отечества и Северный Архив», т. 33, 253—272, перев. Н. Ю. (Юркевича).

«Voyage de Paris à Java» написано в 1832 г., в первый раз напечатано в «Revue de Paris», 1832. К Кюхельбекеру не попадали в крепость альманахи. Он немало изумился бы, если бы прочел в «Северных Цветах» на 1832 год знаменитое стихотворение Пушкина «Анчар», написанное в 1828 г. В самом деле, и стихотворение Пушкина и «Путешествие» Бальзака, написанное четыре года спустя, повествуют об одном и том же ядовитом дереве, «древе яда» (у Пушкина а н ч а р, у Бальзака у п а с). Из чер-

новых рукописей Пушкина явствует, что он знал и о названии у п а с, а в пушкинской литературе установлены фактические источники сведений об этом легендарном яванском дереве; эти источники, видимо, были общими и для Пушкина и для Бальзака. Интересно другое: у обоих та же последовательность деталей в изображении свойств дерева и та же грозная социальная картина: у Пушкина владыка посылает раба за смертельным ядом, чтобы напитать им стрелы, и раб, вернувшись с ядом, умирает у ног владыки; у Бальзака осужденный яванец должен принести отравленный соком дерева кинжал, за что ему даруют прощение, но редко кто из преступников выживает. Так почти одновременно Пушкин в стихотворении, которое Мериме переводил на латинский язык, полагая, что только латынь может передать сжатость и силу подлинника, и Бальзак в очерке, вошедшем в «*Traité des Excitants modernes*», писали на одну и ту же тему.

⁸ «Ростовщик Корнелиус». Повесть Бальзака (перев. с французского).—«Сын Отечества и Северный Архив», 1833, т. 38, 73—98; 129—156, 230—258, и т. 39, 3—25 («*Maître Cornelius*»,—«*Revue de Paris*», 1831, décembre).

⁹ «Красный Трактир». Повесть Бальзака (перев. с французского).—«Сын Отечества и Северный Архив», 1833, т. 41, 3—63. «*L'auberge rouge*»,—«*Revue de Paris*», 1831, août, вошло в «*Nouveaux contes philosophiques*», 1832.

¹⁰ «Библиотека для Чтения», 1834, I, 55, 56.

¹¹ Ibid., 59.

¹² Полемическое использование сходства псевдонима Жорж Санд с именем Карла Занда, немецкого революционера, убившего в 1820 г. агента Священного союза Коцебу и казненного; на деле псевдоним Жорж Санд происходил от имени ее друга, литератора Жюль Сандо.

¹³ «Библиотека для Чтения», 1834, III, 38—39.

¹⁴ Ibid., 44—45.

¹⁵ Ibid., СПб. 1835, VIII, отд. II, 61.

¹⁶ «*Le père Goriot*», сентябрь 1834 г.; «*Revue de Paris*»—декабрь 1834 г.—февраль 1835 г. В 1835 г. вышел в издательстве Werdet et Spachmann, в двух томах.

¹⁷ «Библиотека для Чтения», СПб. 1835, IX, отд. II, 1—106.

¹⁸ Зачеркнута более резкая фраза: «Только к несчастью люди самые умные и благородные редко бывают там, в тех кругах» и т. д.

¹⁹ Цитата из знаменитого стихотворения Пушкина «Черная шаль» 1820 г., распевавшегося, как романс, в 20-х годах.

²⁰ Центрархив. «Восстание декабристов», VIII, 251.

²¹ Центрархив. «Восстание декабристов». Материалы, VIII, 252.

²² А. И. Дмитриев-Мамонов, Декабристы в Западной Сибири, СПб. 1905, 73—78.

²³ Брамбеус—не только литературный псевдоним, но и alter ego Сенковского, его литературный герой.

²⁴ Сорок одна повесть лучших иностранных писателей в 12 частях, изданы Николаем Надеждиным, ч. III, М., 1836, 203—259, ценз. дата 3/I 1836 г. Перев. «*Une passion d'artiste*»—второй главы повести «*Sarrasine*» (впервые в «*Revue de Paris*», ноябрь 1830 г.). Восторженный отзыв Кюхельбекера о первой главе «*Les deux portraits*» см. выше, стр. 367.